ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK · 26
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

Konstantin Vaginov

# SOBRANIE STICHOTVORENIJ

Sostavlenie, posleslovie i primečanija
Leonida Čertkova

München · Verlag Otto Sagner in Kommission

ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK · 26
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

Константин Вагинов

# СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Составление, послесловие и примечания
Леонида Черткова

Предисловие В. Казака

1982

München · Verlag Otto Sagner in Kommission

Der Leningrader, heute in Paris lebende Philologe Leonid Čertkov gibt mit dieser Edition die erste Sammlung aller bis jetzt erreichbaren Gedichte von Konstantin Vaginov (1899 - 1934) - zeitweise Mitglied der Gruppen "Cech poėtov", "Ostrovitjane", "Obėriu" - textkritisch heraus. In der Sowjetunion ist nach seinem Tode kein Band aufgelegt worden. - Ich danke Leonid Čertkov für diesen Beitrag zur slavistischen Forschung, Frau Dr. Irmgard Lorenz für redaktionelle Mitarbeit und dem Verein der Freunde und Förderer der Universität zu Köln für finanzielle Unterstützung.

W.K.

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Vaginov, Konstantin:
Sobranie stichotvorenij / Konstantin Vaginov.
Sostavlenie, poslesl. i primeč. Leonida Čertkova. Predisl. V. Kazaka. - München: Sagner, 1982.
(Arbeiten und Texte zur Slavistik ; 26)
ISBN 3-87690-157-X

NE: GT

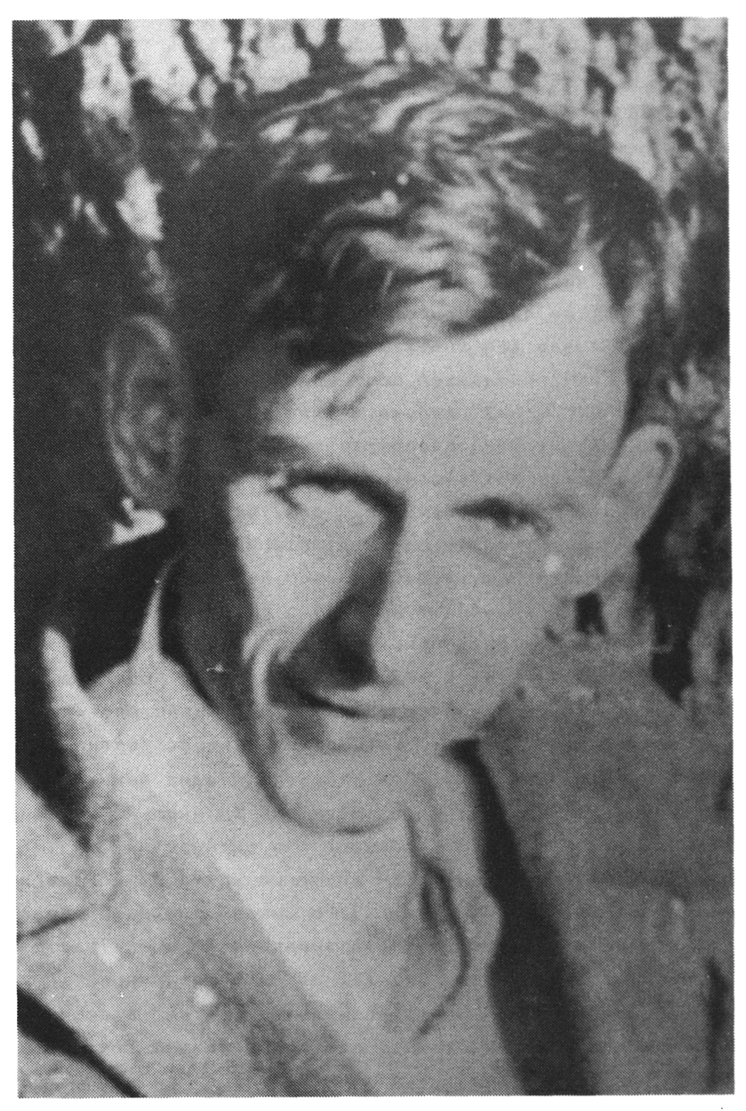
Als Manuskript vervielfältigt



ISSN 0173-2307

ISBN 3-87690-157-X

Gesamtherstellung Walter Kleikamp · Köln



Константин Вагинов

# ПО ПОВОДУ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ КОНСТАНТИНА ВАГИНОВА

К заслугам Леонида Черткова принадлежит то, что он вместе с Т. Никольской в 1967 г. в альманахе "День поэзии"[1] впервые после более чем трех десятилетий обратил внимание в самостоятельной статье на творчество Константина Константиновича Вагинова (1899-1934). Имя Вагинова не приводится ни в первом томе "Краткой литературной энциклопедии" (1962) ни в историях литературы Академии наук СССР[2], ни в пособиях по литературе, допущенных Министерством высшего и среднего специального образования СССР[3]. В 1960 г. Лидия Чуковская в своей книге "В лаборатории редактора" хотя и коснулась обходимой молчанием группы Обэриу (Хармс, Введенский)[4], однако имя забытого Вагинова, несмотря на то, что оно упоминается в манифесте Обэриу, она оставила без внимания. Один из последних очевидцев группы Обэриу Исай Аркадьевич Рахтанов включил в 1962 г. в свою статью о детских журналах "Еж" и "Чиж" одну фразу о Вагинове[5], ленинградский литературовед Анатолий Александров,один из первых советских исследователей творчества обэриутов упомянул в 1966 г. его фамилию в статье о Н. А. Заболоцком[6] и в 1968 г. в журнале "Československá rusistika"[7] более подробно писал о нем, доказывая, что Вагинов был близок к обэриутам скорее как прозаик, чем как поэт. Одновременно с выходом альманаха "День поэзии" (1967) Т. Никольская выступила на XXII научной студенческой конференции в Тарту с докладом о Вагинове[8], однако в наиболее доступной форме она осветила его жизнь и творчество в дополнительном томе (1978) к "Краткой литературной энциклопедии"[9].

После ранней смерти Вагинова в 1934 г. в Советском Союзе не переиздавался ни один из его трех сборников стихов, напечатанных в 1921-31 гг., ни один из его романов. После того как Л. Чертков и Т. Никольская обратили внимание на произведения Вагинова, некоторые из них были переизданы в 1967 г. на Западе. Карл Проффер выпустил стереотипное переиздание первого сборника лирической поэзии Вагинова[10], Юрий Иваск и Х. В. Тьялсма включили восемь стихотворений Вагинова в "Антологию Петербургской поэзии акмеизма" (1973)[11], О. Малмстед и Т. Шмаков поместили большую часть неопубликованного цикла "Звукоподобие" в пространном парижском альманахе "Аполлон 77"[12], и в 1978 г. появилось еще одно стереотипное издание в США[13]. В справочниках имя Вагинова засвидетельствовано впервые в 1976 г.[14].

Леонид Чертков, составивший предлагаемое первое комментированное издание всех доступных стихотворений Вагинова, имел возможность сверить большинство из них с рукописным подлинником. Сборник "Путешествие в хаос" (1921, переиздание 1972) он пополнил пятью до сих пор неопубликованными, однако предусмотренными для него стихотворениями. Сборник "Петербургские ночи", который должен был выйти в 1924 г., Черткову не удалось восстановить полностью. В целом в него должно было войти 50 стихотворений, 12 из них печатаются здесь впервые, 20 собраны из разных изданний (два из сборника без названия, Ленинград 1926, переиздание 1978), а 18 приходится пока считать пропавшими. Чертков впервые собрал все стихотворения, возникшие в 1920-30 гг., которые Вагинов не включил ни в один из своих циклов. 16 из этих 31 стихотворения , и поэма "1925" в 11 страниц, печатаются здесь впервые. Спустя 50 лет Чертков в этом сборнике вновь открывает читателям доступ к последнему, опубликованному в 1931 г. сборнику стихотворений Вагинова "Опыты соединения слов посредством ритма". В него входит приблизительно половина стихотворений из сборника без названия (1926), отчасти в несколько иных редакциях. Готовя к изданию цикл "Звукоподобие", Чертков тоже пользовался рукописным оригиналом, благодаря чему ему удалось избежать ошибок, имеющихся в альманахе "Аполлон 77" и увеличить на два число напечатанных в ней стихотворений. В примечаниях дана подробная справка о первом издании стихотворений и различных их версиях.

Что касается литературы о Вагинове, то при его жизни о нем положительно высказались такие известные писатели, как Адамович, Брюсов, Ходасевич, Груздев, Гумилев, Лунц, Оцуп и В. Рождественский. В своем послесловии Чертков приводит много ценных цитат из почти недоступной литературы о Вагинове. В 1930 г. Вагинов вместе с такими авторами, как В. Катаев, Л. Борисов и Ю. Берзин подвергся нападкам за "бесцветную литературно-идеологическую позицию"[15] в своем романе "Труды и дни Свистонова". Уже в 1933 г. его стихотворения считались всего лишь "искусным "слепком" с образцов буржуазного поэтического мастерства"[16]. Одновременно с попыткой Т. Никольской и Л. Черткова в 1967 г. включить этого обходимого молчанием автора в русскую литературу Леонид Борисов цитирует в автобиографических воспоминаниях о нем (прежде всего как книголюба) стихотворение "За ночью ночь"[17]. Вслед за ними А. Македонов в 1968 г.

в своей книге о Николае Заболоцком в связи с Н. Тихоновым положительно оценил Вагинова (как члена группы "Островитяне" в начале НЭПа) и как обэриута, которому "игра Введенского и Хармса в бессмыслинку была несвойственна"[18].

Исходя в своей лирике из символизма и акмеизма и пройдя путь от "цеха поэтов" Гумилева до преемников футуризма в группе Обэриу, Константин Вагинов представляет собой своеобразное явление в русской поэзии. Надеюсь, что этот сборник, содержащий всю доступную лирику поэта, внесет вклад в то, чтобы Вагинов вновь занял место в истории русской литературы.

Благодарю господина Леонида Черткова (Париж) за издание сборника и послесловие к нему, Фрау д-р Ирмгард Лоренц (Кельн) за содействие при редакционн й работе и Общество друзей Кельнского университета за финансовую поддержку.

Кельн, июль 1982 года — Wolfgang Kasack

---

[1] Т. Никольская, Л. Чертков, "Константин Вагинов". В сб.: "День поэзии". Ленинград 1967, с. 77-79.

[2] "История русской советской литературы" I-III. Ред.: А.Г. Дементьев, Л.И. Тимофеев. Москва: изд-во АНСССР 1958-1961; 2-е изд., испр. и доп. I-IV. Ред.: А. Г. Дементьев, Л.М. Поляк, Л.И. Тимофеев. Москва: изд-во Наука 1967-1971.

[3] "История русской советской литературы" I-II. Ред.: А.И. Метченко, Л.М. Поляк, Л.И. Тимофеев. Москва: изд-во Московского университета 1958-1963; "История русской советской литературы". Ред.: П.С. Выходцев. Москва: изд-во Высшая школа 1970; 2-е изд. 1974.

[4] Л. Чуковская, "В лаборатории редактора". Москва: изд-во Искусство 1960. О Д.И. Хармсе: сс. 211, 223, 257, 258, 259,294, 300; о А.И. Введенском: сс. 211, 223, 257, 258, 260-263, 264, 294, 310; 2-е изд. 1963. О Хармсе: сс. 221, 232, 268, 269-270, 311, 316; о Введенском: сс. 221, 232, 268, 269, 271-274, 275, 311, 330.

[5] И.А. Рахтанов, "'Еж' и 'Чиж'". В кн.: "На широтах времени". Москва: Советский писатель 1973, сс.389-423 (399).

[6] А. Александров, "Заметки о книге стихотворений Николая Заболоцкого". В журн.: "Звезда" 1966.10. сс. 211-217 (212).

[7] Он же, "Обэриу. Предварительные заметки". В журн.: "Československá rusistika" XIII (1968) 5, сс. 296-303 (300-301).

[8] Т. Никольская, "О творчестве К. Вагинова". В сб.: "Материалы XXII научной студенческой конференции". Ч. 1. Тарту 1967.

[9] Краткая литературная энциклопедия 9. Москва: изд-во Советская Энциклопедия 1978, с. 169.

[10] К. Вагинов, "Путешествие в хаос". Петербург 1921. Fadsimile Edition by Ardis, Ann Arbor 1972.

[11] "Антология Петербургской поэзии эпохи акмеизма. Acmeists and Others: An Anthology". Edited with an Introduction and Notes by George Ivask and H.W. Tjalsma. München: Wilhelm Fink-Verlag 1973, cc.164-168 (Centrifuga 16).

[12] Д. Малмстед, Г. Шмаков, "Константин Вагинов". В сб.: "Аполлон-77". Ред. М. Шемякин. Париж 1977, сс. 34-41.

[13] К. Вагинов, [Стихи, посвященные А. Федоровой]. Ленинград 1926. Reprint by Ardis, Ann Arbor 1978.

[14] Wolfgang Kasack, "Lexikon der russischen Literatur ab 1917", Stuttgart: Kröner-Verlag 1976, S. 415-416.

[15] Р. Мессер, "Попутчики второго призыва". В журн.: "Звезда" 1930.4. сс. 203-211 (207).

[16] И. Оксенов, "Борьба за лирику". В журн.: "Новый мир" 1933.7/8. сс. 399-407 (401).

[17] Л. Борисов, "Родители, наставники, поэты". Москва: изд-во Книга 1967. сс. 87-89.

[18] А. Македонов, "Николай Заболоцкий". Ленинград: Советский писатель 1968. с. 45.

СОДЕРЖАНИЕ

## ПУТЕШЕСТВИЕ В ХАОС

## (1919 - 1921)

*Достохвальному*
*Аббатству Гаэров посвя-*
*щает свое путешествие*
*Константин Вагинов*

Седой табун из вихревых степей
Промчался все круша и руша.
И серый мох покрыл стада камней.
Травой зеленой всходят наши души.

Жуют траву стада камней.
В ночи я слышу шорох жуткий,
И при большой  оранжевой Луне
Уходят в камни наши души.

Еще зари оранжевое ржанье
Ерусалимских стен не потрясло,
Лицо Иоконоанна - белый камень
Цветами зелени и глины поросло.

И голова моя качается как череп
У окон сизых, у пустых домов
И в пустыри открыты двери,
Где щебень, вихрь, круженье облаков.

Под пегим городом заря играла в трубы,
И камышами одичалый челн пророс.
В полуоткрытые заоблачные губы
Тянулся месяц с сетью желтых кос.

И завывал над бездной человек нечеловечьи
И ударял в стада сырых камней,
И выходили души на откос Кузнечный
И хаос резали на призрачном огне.

Пустую колыбель над сумеречным миром
Качает желтого Иосифа жена.
Ползут туманы в розовые дыры
И тленье подымается от ран.

Бегут туманы в розовые дыры
И золоченых статуй в них мелькает блик,
Маяк давно ослеп над нашею квартирой
За бахромой ресниц - истлевшие угли.

Арап! Сдавай скорее карты!
Нам каждому приходится ночной кусок,
Заря уже давно в окно покашливает
И выставляет солнечный сосок.

Сосите, мол, и уходите в камни
Вы что-то засиделись за столом,
И в погремушках вся,Мария в ресторане
О сумасшедшем сыне думает своем.

Цветы цветут из глаз зеленых наших
И наши мысли лепестки твердят,
Безумный Иисус с виновною ромашкой
Бредет куда глаза глядят.

О,только бы уйти от Бога,
Солгавшего и лгавшего всегда,
И месяц ржет на голубой дороге
И там вдали смеется Иордан.

Надел Исус колпак дурацкий,
Озера сохли глаз Его,
И с ликом,вывшим из акаций,
Совокупился лик Его.

Кусает солнце холм покатый,
В крови листва, в крови песок...
И бродят овцы между статуй,
Носами тычут в пальцы ног.

Вихрь, бей по Лире,
Лира, волком вой,
Хаос все шире, шире...
Господи! Упокой.

Набухнут бубны звезд над нами,
Бубновой дамой выйдет ночь,
И над великим рестораном
Прольет багряное вино.

И ты себя как горсть червонцев,
Как тонкий мех индийских коз,
Отдашь в ее глухое лоно
И в нем задремлешь глубоко.

Прильни овалом губ холодных
Последний раз к перстам чужим
И в человеческих ладонях
Почувствуй трепетанье ржи.

Твой дом окном глядит в пространство,
Сырого лона запах в нем,
Как Финикия в вечность канет
Его Арийское веретено.

Уж сизый дым влетает в окна,
Простертый на диване труп
Все ищет взорами волокно
Хрустальных дней разъятую игру.

И тихий свет над колыбелью,
Когда рождался отошедший мир,
Тогда еще Авроры трубы пели
И у бубновой дамы не было восьми.

Тает маятник, умолкает
И останавливаются часы.
Хаос - арап с глухих окраин
Карты держит,как человеческий сын.

Сдал бубновую даму и доволен,
Даже нет желанья играть,
И хрустальный звон колокольный
Бежит к колокольням вспять.

## *ОСТРОВА*

(1919)

— — — — — — — — — — — — — —

О, удалимся на острова Вырождений,
Построим хрустальные замки снов,
Поставим тигров и львов на ступеньях,
Будем следить теченье облаков.

Пусть звучит музыка в узорных беседках,
Звуки скрипок среди аллей,
Пусть поют птицы в золоченых клетках,
Будут наши лица лилий белей.

Будем в садах устраивать маскарады,
Песни петь и стихи слагать,
Будем печалью тихою рады,
Будем протяжно произносить слова.

Голосом надтреснутым говорить о Боге,
О больном одиноком Паяце,
У него сияет месяц двурогий,
Месяц двурогий на его венце.

Тихо, тихо качается небо,
С тихими бубенцами Его колпак,
Мы только атомы Его тела,
Такие же части, как деревьев толпа.

Такие части, как кирпич и трубы,
Ничем не лучше забытых мостов над рекой,
В своей печали не будем мы грубы,
Не будем руки ломать с тоской.

Мы будем покорно звенеть бубенцами,
На островах Вырождений одиноко жить,
Чтоб не смутить своими голосами
Людей румяных в колосьях ржи.

Как нежен запах твоих ладоней,
Морем и солнцем пахнут они,
Колокольным тихим звоном полный
Ладоней корабль бортами звенит.

Твои предки возили пряности с Явы,
С голубых островов горячих морей,
Помнишь кусочек якоря ржавый
Хранится в узорной шкатулке твоей.

Там же лежат венецианские бусы
И золотые монеты с Марком святым,
Умер корабль,исчезли матросы,
Волны не бьются в его борты.

Он стал призраком твоих ладоней,
Бросил якорь в твоей крови,
И погребальным звоном полны
Маленькие нежные руки твои.

Сегодня – дыры, не зрачки у глаз,
Как холоден твой лик,проплаканы ресницы,
Вдали опять адмиралтейская игла
Заблещет,блещет в утренней зарнице.

И может быть,ночной огромный крик
Был только маревом на обулыжненном болоте,
И стая не слетится черных птиц,
И будем слышать мы орлиный клекот...

## НА НАБЕРЕЖНОЙ

Как бедр твоих волнует острие.
Еще распущены девические косы,
Когда зубов белеющих копье
Пронзает губы алые матросов.

На набережной, где снуют они,
С застывшей солью на открытых блузах,
Ты часто смотришь на пурпурные огни
На черных стран цветные грузы.

В твоей руке колода старых карт,
Закат горит последними углями,
Индийских гор зеленая река
Уснет в тебе под нашими снегами.

И может быть сегодня в эту ночь
Услышу я ее больные зовы,
Когда от кораблей пойдем мы прочь
В ворота под фонарь багровый.

В старинных запахах, где золото и бархат
В бассейнах томности ласкают ноздри вам,
Растут левкои белые у золоченых арок,
И море пурпуром сжимает берега.

Среди жеманных,еле слышных звуков,
Там жизнь течет подобно сладким снам.
Какой-то паж целует нежно руки
И розы тянутся к эмалевым губам.

В квадрат очерчены цветочные аллеи,
В овалы налиты прохладные пруды,
И очертание луны серпом белеет
На зеркалах мерцающих воды.

В старинных запахах,где золото и бархат,
В бассейнах томности ласкает ноздри вам,
Вы встретите себя у золоченых арок
Держащей белого козленка за рога.

Луна, как глаз, налилась кровью,
Повисла шаром в темноте небес,
И воздух испещрен мычанием коровьим,
И волчьим завываньем полон лес.

И старый шут горбатый и зеленый
Из царских комнат прибежал к реке
И телом обезьянки обнаженным
Грозил кому-то в небесах в тоске.

И наверху, где плачут серафимы,
Звенели колокольцы колпака,
И старый Бог, огромный и незримый,
Спектакль смотрел больного червяка.

И шут упал и ангелы молились,
Заплаканные ангелы у трона Паяца,
А он в сияньи золотистой пыли
Смеялся резким звонам бубенца.

И век за веком плыл своей орбитой,
Родились юноши с печалью вместо глаз,
С душою обезьянки, у реки убитой,
И с той поры идет о Паяце рассказ.

Есть странные ковры, где линии неясны,
Где краски прихотливы и нежны,
Персидский кот,целуя вашу грудь прекрасную,
Напоминает мне под южным небом сны.

Цветы свой аромат дарят прохладе ночи,
Дарите ласки Вы персидскому коту,
Зеленый изумруд - его живые очи,
Зеленый изумруд баюкает мечту.

Быть может, это принц из сказки грезы лунной,
Быть может, он в кафтан волшебный облачен,
Звучат для Вас любви восточной струны,
И принц персидский Вами увлечен.

Луна звучит, луна поет Вам серенаду,
Вам солнца ненавистен яркий свет,
Средь винных чар, средь гроздий виноградных
Ваш принц в волшебный мех одет.

Ковры персидские всегда всегда неясны,
Ковры персидские всегда всегда нежны.
Персидский принц иль кот? - Любовь всегда прекрасна.
Мы подчиняемся влиянию луны.

## КАФЕ В ПЕРЕУЛКЕ

Есть странные кафэ, где лица слишком бледны,
Где взоры странны, губы же ярки,
Где посетители походкою неверной
Обходят столики, смотря на потолки.

Они оборваны, движенья их нелепы,
Зрачки расширены их бегающих глаз,
И потолки их давят точно стены склепа,
Светильня грустная для них фонарный газ.

Один в углу сидит и шевелит губами:
"Я новый Бог, пришел, чтоб этот мир спасти,
Сказать,что солнце в нас,что солнце не над нами,
Что каждый - Бог, что в каждом - все пути,

Что в каждом - города, и рощи, и долины,
Что в каждом существе - и реки, и моря,
Высокие хребты, и горные низины,
Прозрачные ручьи, что золотит заря.

О, мир весь в нас, мы сами - боги,
В себе построили из камня города
И насадили травы, провели дороги,
И путешествуем в себе мы целые года ...

Но вот умолкла скрипка на эстраде
И новый Бог лепечет - это только сон,
И муха плавает в шипучем лимонаде,
И неуверенно к дверям подходит он.

На улице стоит поэт чугунный,
В саду играет в мячик детвора,
И в небосклон далекий и лазурный
Пускает мальчик два шара.

Есть странные кафэ, где лица слишком бледны,
Где взоры странны, губы же ярки;
Там посетители походкою неверной
Обходят столики, смотря на потолки.

1921

Мы здесь вдали от сугробов,
От снежных метелей твоих,
Такого веселья попробуйте!
Но нет нам путей других.

Оторванный ком не вернется,
Хотя бы ветер попутный был,
Он только отчаянно бьется,
Растает, как дыма клубы.

Ничего, Иван, приготовьте
Мне сегодня новый фрак.
Почисти хорошенько локоть,
- А как здоровье собак?

А там далеко в сугробах,
Голодная, в корчах родов,
Россия колотится в гробе
Среди деревень, городов.

На палубах Летучего Голландца
Так много появилось крыс...
И старый капитан, обрызганный багрянцем,
Напрасно вспоминал ветры...

И в капище у белой дьяволицы
С рогами и младенцем на руках,
Напрасно костяки молились,
Напрасно светилась во впадинах тоска...

На пальцах высохших сверкали изумруды,
И грызли призрачные ноги стаи крыс,
И кости издавали запах трупный,
И были кости от прожорливых мокры...

А там...на розовых архипелагах...
Среди негров с первобытным запахом зверей
Потомков развевались флаги.
Вставало солнце на усеченной горе...

февраль 1921

Умолкнет ли проклятая шарманка?
И скоро ль в розах, белых и пречистых,
Наш милый брат среди дорог лучистых
Пройдет с сестрою нашей обезьянкой?

Не знаю я... Пути Господни - святы,
В телах же наших бубенцы, не души.
Стенать я буду с каждым годом глуше:
Я так люблю Спасителя стигматы!

И через год не оскорблю ни ветра,
Ни в поле рожь, ни в доме водоема,
Ни сердца девушки знакомой,
Ни светлого, классического метра...

## ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Мы хмурые гости на чуждом Урале,
Мы вновь повернули тяжелые лиры свои:
Эх, Цезарь безносый всея Азиатской России
В Кремле Белокаменной с сытой сермягой, внемли.

Юродивых дом ты построил в стране белопушной
Под взвизги, под взлеты, под хохот кумачных знамен,
Земля необильна,земля неугодна,
Земля не нужна никому.

Мы помним наш город, Неву голубую,
Медвяное солнце, залив облаков,
Мы помним Петрополь и синие волны,
Балтийские волны и звон площадей.

Под нами храпят широкие кони,
А рядом мордва,черемисы и снег.
И мертвые степи, где лихо летают знамена,
Где пращуры встали, блестя, монгольской страны.

За осоку, за лед, за снега,
В тихий дом позвала, где звенели стаканы.
И опять голубая в гранитах река
И сквозные дома и реянье ночи.

Эй, горбатый, тебя не исправит могила.
Голубую Неву и сквозные дома
И ступени, где крысы грохочут хвостами,
В тихий дом ты привел за собой.

# ПЕТЕРБУРГСКИЕ НОЧИ

(1921 - 1922)

Перевернул глаза и осмотрелся:
Внутри меня такой же черный снег,
Сутулая спина бескрылой птицей бьется,
В груди моей дрожит и липнет свет.

И, освещенный весь, иду я в дом знакомый
И, грудью плоскою облокотясь о стол,
Я ритмы меряю, выслушиваю звоны,
И муза голая мне руку подает.

У милых ног венецианских статуй
Проплакать ночь, проплакать до утра
И выйти на Неву в туман, туман косматый,
Где ветер ржет и бьет и скачет у костра.

Табун, табун ветров копытами затопчет
Мой малый дом, мой тихий Петербург,
И Летний сад, и липовые почки
И залетевшую со Стрелки стрекозу.

С Антиохией в пальце шел по улице,
Не видел Летний сад,но видел водоем,
Под сикоморой конь и всадник мылятся
И пот скользит в луче густом.

Припал к ногам, целуя взгляд Гекаты,
Достал немного благовоний и тоски,
Арап ждет рядом черный и покатый
И вынимает город из моей руки.

Намылил сердце - пусть не больно будет
Поцеловал окно и трупом лег,
В руках моих песнь песней бродит,
О виноградной смуглости поет.

Еще есть жемчуга у черного Цейлона,
В Таити девушки желтее января,
Но ветер за окном рекламу бьет и стонет,
Зовет тонуть в ночных морях.

В соседнем доме свет зажгли вечерний,
Еще не верят в гибель синих дней,
Но друг мой лижет руки нервно
И слушает, как умолкает сад во мгле.

Каждый палец мой - исчезнувший город,
А ладонь - океан тоски,
Может поэтому так мне дороги
Руки твои.

Спит в ресницах твоих золоченых
Мой старинный умерший сад,
За окном моим ходят волны,
Бури свист и звезд голоса,

Но в ресницах твоих прохлада,
Тихий вечер и шелест звезд.
Ничего, что побит градом
За окном огород из роз.

Упала ночь в твои ресницы,
Который день мы стережем любовь.
Антиохия спит, и синий дым клубится
Среди цветных умерших берегов.

Орфей был человеком, я же сизым дымом.
Курчавой ночью тяжела любовь, -
Не устеречь ее.Огонь неугасимый
Горит от этих мертвых берегов.

Покрыл, прикрыл и вновь покрыл собою
Небесный океан наш темный синий сад,
Но так же нежны у тебя ладони,
Но так же шелестят земные небеса.

Любовь томит меня огромной знойной птицей.
Вдыхать смогу ль я запах милых рук?
Напрасно машут вновь твои ресницы,
Один останусь с птицей на ветру.

Опять у окон зов Мадагаскара,
Огромной птицей солнце вдаль летит,
Хожу один с зефиром у базара,
Смешно и страшно нам без солнца жить.

Как странен лёт протяжных стран Европы,
Как страшен стук огромных звезд,
Но по плечу меня прохожий хлопнул -
Худой, больной и желтый, как Христос.

Камин горит на площади огромной
И греет девушка свой побледневший лик.
Она бредет еврейкою бездомной
И рядом с нею шествует старик.

Крутись, сырая ночь, в ее глазах восточных,
Старик, старик, куда ее ведешь?
Луна, как червь, мой  подоконник точит,
Ужели завтра снова запоешь?

Один бреду среди рогов Урала,
Гул городов умолк в груди моей,
Чернеют косы на плечах усталых,
Не отрекусь от гибели своей.

Давно ли ты, возлюбленная, пела,
Браслеты кораблей касались островов,
Но вот один оплакиваю тело,
Но вот один бреду среди снегов.

В нагорных горнах гул и гул, и гром,
Сквозь груды гор во Мцхетах свечи светят,
Под облачным и пуховым ковром
Глухую бурю, свист и взвизги слышишь.

О, та же гибель и для нас, мой друг,
О, так же наш мохнатый дом потонет.
В широкой комнате, где книги и ковры,
Зеленой лампы свет уже не вздрогнет.

Любовь опять томит, весенний запах нежен,
Кричала чайкой ночь и билась у окна,
Но тело с каждым днем становится все реже
И сквозь него синеет Иордан.

И странен ангел мне, досчатый мост дворцовый
И голубой как небо Петроград,
Когда сияет солнце, светят скалы, горы
Из тела моего на зимний Летний Сад.

И умер он не при луне червонной,
Не в тонких пальцах золотых дорог,
Но там, где ходит сумрак желтый,
У деревянных и хрустящих гор.

Огонь дрожал над девой в сарафане
И ветер рвал кусок луны в окне,
А он все ждал,что шар плясать устанет,
Что все покроет мертвый белый снег.

Крутись же, карусель над синею дорогой,
Подсолнечное семя осыпай,
Пусть спит под ним тяжелый, блудный город,
Души моей старинный, черный рай.

Двенадцать долгих дней в груди махало сердце
И стало городом среди Ливийских гор.
А он все ходит по Садовой в церковь
Ловить мой успокоенный, остекленевший взор.

И стало страшно мне сидеть у белых статуй,
Вдыхать лазурь и пить вино из лоз,
Когда он верит, друг и враг заклятый,
Что вновь пойду средь Павловских берез.

Я встал, пошатываясь, и пошел по стенке,
А Аполлон за мной, как тень, скользит,
Такой худой и с головою хлипкой,
И так протяжно нежно говорит:

"Мой друг, зачем ты взял кусок Эллады,
Зачем в гробу тревожишь тень мою?" -
Забился я под злобным жестким взглядом,
Проснулся раненый, с сухой землей во рту.

Ни семени, ни шелкового зуда -
Не для любви пришел я в этот мир.
Мой милый друг, вдави глаза плечами
И оберни меня изгибом плеч твоих.

Палец мой сияет звездой Вифлеема,
В нем раскинулся сад, и ручей благовонный звенит,
И вошел Иисус и под смоквой плакучею дремлет
И на эллинской лире унылые песни твердит.

Обошел осторожно я дом, обреченный паденью
Отошел на двенадцать неровных, негулких шагов
И пошел по Сенной слушать звездное тленье
Над застывшей водой чернокудрых снегов.

Чернеет ночь в моей руке подъятой,
Душа повисла шаром на губах;
А лодка все бежит во ржи зеленоватой,
Пропахло рожью солнце в облаках.

Что делать мне с моим умершим телом,
Зачем несусь я снова на восход;
Костер горел и были волны белы,
Зачем же дверь опять меня зовет?

Бреду по жести крыш и по оконным рамам,
Знакомый запах гнили и болот.
Ходил другой с своею вечной дамой,
Ходил внизу и целовал ей рот.

Темнеет море и плывет корабль
От сердца к горлу сквозь дожди и вьюгу,
Но нет пути и пухнут якоря,
Горячим сургучом остеклянели губы.

Их не разъять,не выпустить корабль,
Матросы в шубах третий день не ели,
Напрасно всходит глаз моих заря,
Напрасно пальцы бродят по свирели.

Вышел на Карповку звезды считать
И аршином Оглы широкую осень измерить.
Я в тюбетейке, на мне арестантский бушлат,
А за спиною луны перевитые песни.

Друг мой студентом живет в малой Эстонской стране,
Взял балалайку рукой безобразной,
Тихо выводит и поет и ночи поет
И мигает затянутым пленкою глазом.

Знаю,там девушка с тающей грудью как воск,
Знаю,там солнце еще разудалой и милой Киприды,
Но этот вечер холодный, тяжелый как лед.
Перс мой товарищ и лейтенант Атлантиды.

Персне поймет, только грустно станет ему,
Вспомнит он сад и сермяжные волжские годы,
И лейтенант вскинет глаза в темноту
И услышит в домах голоса полосатого моря.

В пернатых облаках все те же струны славы,
Амуров рой. Но пот холодных глаз,
И пальцы помнят землю, смех и травы,
И серп зеленый у брегов дубрав.

Умолкнул гул, повеяло прохладой,
Темнее ночи и желтей вина
Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.

июль 1921

# ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗВЕЗДОЧЕТ

1

Дыханьем Ливии наполнен Финский берег.
Бреду один средь стогнов золотых.
Со мною шла чернее ночи Мэри,
С волною губ во впадинах пустых.
В моем плече тяжелый ветер дышет,
В моих глазах готовит ложе ночь.
На небе пятый день Румяный Нищий ищет,
Куда ушла его земная дочь.
Но вот двурогий глаз повис на небе чистом,
И в каждой комнате проснулся звездочет.
Мой сумасшедший друг луну из монтекристо,
Как скрипку отзвеневшую убьет.

2

В последний раз дотронуться до облаков поющих,
Пусть с потолка тяжелый снег идет,
Под хриплой кущей бархатистых кружев
Рыбак седой седую песнь прядет.
Прядет ли он долины Иудеи
Иль дом крылатый на брегах Невы,
В груди моей старинный ветер рдеет,
Качается и ходит в ней ковыль.
Но он сегодня вышел на дорогу,
И с девушкой пошел в мохнатый кабачок.
Он как живой, но ты его не трогай,
Он ходит с ней по крышам широко.
Шумит и воет в ветре Гала Петер
И девушка в фруктовой слышит струны арф,
А Звездочет опять прядет в своей карете
И над Невой клубится синий звездный пар.

Затем над ним, подъемля крест червонный,
Качая ризой над цветным ковром,
Священник скажет: - Умер раб Господний,-
Иван Петров лежит в гробу простом.

3

Мой дом двурогий дремлет на Эвроне
Псалмы Давида, мята и покой.
Но Аполлон в столовой ждет и ходит
Такой безглазый, бледный и родной.

4

Рябит рябины хруст под тонкой коркой неба,
А под глазами хруст покрытых пледом плеч,
А на руке браслет, а на коленях требник,
На голове чалма.О, если бы уснуть!
А Звездочет стоит безглазый и холодный,
Он выпил кровь мою, но не порозовел,
А для меня лишь бром, затем приют Господень -
Четыре стороны в глазете на столе.

Стали улицы узкими после грохота солнца,
После ветра степей, после дыма станиц...
Только грек мне кивнул, площадная брань в переулке,
Безволосая Лида бежит, подбирая чулок.

Я боюсь твоих губ и во рту твоем язва...
Пролетели те ночи городской и небесной любви.
Теплый хлеб, чернокудрая дремлет Марыся
Под жестоким бычьим полушубком моим.

Все же я люблю холодные жалкие звезды
И свою опухшую белую мать,
Неуют и под окнами кучи навоза
И траву и крапиву и чахло растущий салат.

Часто сижу во дворе и смотрю на кроличьи игры.
Белая выйдет луна воздух вечерний впивать.
Из дому вытащу я шкуру облезлую тигра,
Лягу и стану траву плечи подъемля сосать.

Да, в обреченной стране самый я нежный и хилый,
Братья мои кирпичи, остров зеленый земли.
Мне все равно, что сегодня две унции хлеба, -
Город свой больше себя, больше спасенья люблю.

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разодраны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы
Гулко упали в колкие плечи мои.

Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет - и перелет на Восток.
О, как сияет Китайское мертвое солнце!
Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски.

Снова на родине я. Ём чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум.Тихая поступь ветров.
Но не откроет мне дверь насурмленная Маша,
Стаи белых людей лошадь грызут при луне.

март 1922

Сынам Невы не свергнуть ига власти.
И чернь крылатым идолом взойдёт.
Для Индии уснувшей, для Китая,
Для черных стран не верящих - восход.

Вот я стою на торжищах Европы,
В руках: озера, города, леса,
И слышу шум и конский топот,
Гортанные и птичьи голоса.

Коль славен наш Господь в Сионе,
Приявший ночь и мглу и муть,
Для. стран умерших сотворивший чудо,
Вдохнувший солнце убиенным в грудь.

Нет, не люблю закат. Пойдемте дальше, Лида.
В казарме умирает человек.
Ты помнишь профиль нежный, голос лысый
Из перекошенных остекленелых губ?

А на мосту теперь великолепная прохлада,
Поскрипывает ветр и дышет Летний сад,
А мне в Дерябинку вернуться надо...
Отдернул кисть и выслушал часы.

Живу отшельником Екатерининский канал 105.
За окнами растет ромашка, клевер дикий,
Из-за разбитых каменных ворот
Я слышу Грузии Азербайджана крики.

Из кукурузы хлеб, прогорклая вода.
Телесный храм разрушили
В степях поет орда,
За красным знаменем стоит она послушна.

Мне делать нечего, пойду и помолюсь
И кипарисный крестик поцелую.
Сегодня ты смердишь напропалую Русь
В Кремле твой Магомет по ступеням восходит.

И на кремле восходит Магомет Ульян
"Иль, иль, али, иль, иль Али-Рахман"
И строются полки и снова вскачь
Зовут Китай поднять лихой кумач.

Мне ничего не надо - молод я
И горд своей душою неспокойной,
И вот смотрю закат, в котором жизнь моя
Империи Великой и просторной.

Усталость в теле бродит плоскостями
На каждой плоскости упавшая звезда.
Мой вырождающийся друг двухпалый Митя,
Нас не омоет новый Иордан.

И вспомнил Назарет и смуглого Исуса,
Кусок зари у Иудейских гор
И пальцы круглые тяжелые как бусы
И твой обвернутый вкруг подбородка взор.

Мои слегка потрескивают ноги,
Звенят глаза браслетами в ночи,
И весь иду здоровый и убогий
Где ломанные млеют кирпичи.

Погладил камень и сказал спокойно:
Спи, брат, не млей, к тщете не вожделей.
Творить себе кумир из человека недостойно,
Расти травой тысячелетних дней.

Мой бог гнилой, но юность сохранил.
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавший в муках муку страстной ночи.

И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, женский плач
И твой вопрос, встающий в зыби черной...

И все ж я не живой под кущей Аполлона,
Где лавры тернием вошли в двадцатилетний лоб
Под бури гул, под чудный говор сада
Прикован я лирической скале.

Шумит ли горизонт иль ветр цветной приносит
К ногам моим осколки кораблей,
Линяет кенарь, золотая осень,
Седой старик прикован ко скале.

И голый я стою среди снегов,
В пустых ветвях не бродит сок зеленый,
А там лежит исполненный тревог
Мой город мерный, звонкий и влюбленный.

И также ходит Муза по ночам -
Старуха в капоре с своей глухою лирой,
И млеют юноши до пустоты плеча
О девушке нагой тугой и милой.

# СТИХОТВОРЕНИЯ

1920-1930

Под рожью спит спокойно лампа Аладина.
Пусть спит в земле спокойно старый мир.
Прошла неумолимая с косою длинной.
Сейчас наверно около восьми.

Костер горит. Узлы я грею пальцев.
Сезам.Пусти обратно в старый мир,
Немного побродить в его высоком зале
И пересыпать вновь его лари.

Осины лист дрожит в лазури
И Соломонов Храм под морем синим спит.
Бредет осел корнями гор понурый
Изба на курьих ножках жалобно скрипит.

В руке моей осколок римской башни,
В кармане горсть песка монастырей.
И ветер рядом ласково покашливает,
И входим мы в отворенную дверь.

Плывут в тарелке оттоманские фелюги
И по углам лари стоят.
И девушка над Баха фугой
Живет сто лет тому назад.

О, этот дом и я любил когда-то
И знал ее и руки целовал,
Смотрел сентиментальные закаты
И моря синего полуовал.

О, заверни в конфетную бумажку
Храм Соломона с светом желтых свеч.
Пусть ест его чиновник важно
И девушка с возлюбленным в траве.

Крылами сердце ударяет в клетке,
Спокойней, милое, довольно ныть,
Смотри, вот мальчик бродит с сеткой,
Смотри, вот девушка наполнена весны.

Сидит она, торгуя на дороге,
Пройдет плевок, раскачивая котелком,
Я закурю махру, потряхивая ноги,
Глаза вздымая золотой волной.

И к странной девушке прижму свои ресницы,
И безобразную всю молодость свою,
И нас покроет синий звездный иней,
И стану девушкой, торгующей средь вьюг.

Бегу в ночи над Финскою дорогой.
России не было - колониальный бред,
А там внутри земля бурлит и воет,
Встает мохнатый и звериный человек.
Мы чуждых стран чужое наслоенье,
Мы Запада владыки и князья.
Зачем родились мы в стране звериной крови,
Где у людей в глазах огромная заря.
Я не люблю зарю.Предпочитаю свист и бурю,
Осенний свист и безнадежный свист.
Пусть Вифлеем стучит и воет: "Жизни новой!"
Я волнами языческими полн.
Косым углом приподнятые плечи,
На черепе потухшее лицо:
Плывет Орфей - прообраз мой далекий
Среди долин, что тают на заре.
Даны мне гулким медным Аполлоном
Железные и воля и глаза.
И вот я волком рыщу в чистом поле,
И вот овцой бреду по городам.
В сухой дремоте Оптинская пустынь.
Нектарий входит в монастырский сад.
Рябое солнце. Воздух вишней пахнет.
Художники Распятому кадят.
Была Россия - церкви и погосты,
Квадратные сухие терема.
И человек умолк, и берег финский хлещет,
Губернская качается луна.

## ИСКУССТВО

Я звезды не люблю. Люблю глухие домы
И площади червонные, как ночь.
Не погребен.Не для меня колокола хрипели
И языками колотили ночь.

Я знаю, остров я среди кумачной бури
Венеры, Муз и вечного огня.
Я крепок, не сломать меня мятежной буре.
Еще сады в моих глазах звенят.

Но человек, твое дороже тело
Моей червонно-мраморной груди
И глаз моих с каймою из лазури
И ног моих, где моря шум умолк.

Я снял сапог и променял на звезды,
А звезды променял на ситцевый халат,
Как глуп и прост и беден путь Господний,
Я променял на перец шоколад.

Мой друг ушел и спит с осколком лиры,
Он все еще Эллады ловит вздох
И чудится ему, что у истоков милых
Склоняя лавр, возлюбленная ждет.

Я променял весь дивный гул природы
На звук трехмерный, бережный, простой.
Но помнит он далекие народы
И треск травы и волн далекий бой.

Люблю слова: предчувствую паденье,
Забвенье смысла их средь торжищ городских.
Так звуки У и А приемлют шум трамвая
И завыванье проволок тугих.

И ты, потомок мой, под стук сухой вокзала,
Под веткой рельс, ты вспомнишь обо мне.
В последний раз звук А напомнит шум дубравы,
В последний раз звук Е напомнит треск травы.

июль 1922

Немного меда, перца и вербены
И темный вкус от рук твоих во рту.
Свиваются поднявшиеся стены.
Над нами европейцы ходят и поют

Но вот они среди долин Урала,
Они лежат в цепях и слышат треск домов
Средь площадей, средь улиц одичалых,
Средь опрокинутых арийских берегов.

Лишь шумят в непогоду ставни,
Сквозь сквозные дома завыванье полей.
Наш камин, и твое золотое лицо, словно льдина.
За окном треск снегов и трава.

Это вечер, Мария.Средь развалин России
Горек вкус у вина.Расскажи мне опять про любовь,
Про крылатую, черную птицу с большими зрачками
И с костями, как красная кровь.

Ночь отгорела оплывшей свечой восковой
И над домом моим белое солнце скользит,
На паркетном полу распростерлись иглы и хвои,
Аполлон по ступенькам закутавшись в шубу бежит.

Но сандалии сохнут на ярко начищенной меди.
Знаю, завтра придет, и на лире уныло бренча,
Будет петь о снегах, где так жалобны звонкие плачи,
Будет кутать усталые плечи в меха.

*Анне Радловой*

Вы римскою державной колесницей
Несетесь вскачь. Над Вами день клубится,
А под ногами зимняя заря.

И страшно под зрачками римской знати
Найти хлыстовский дух, московскую тоску
Царицы корабля.

Но помните Вы душный Геркуланум,
Везувия гудение и взлет,
И ночь, и пепел.

Кружево кружений.Россия - Рим.

20 августа 1922

*(Из альбома Б. Смиренского)*

Осыплют липы пьедестал чугунный
И дети в ночь уйдут пересыпать песок.

1921

*(Из альбома Л. Борисова)*

Не лунному, но звонкому поэту
Любителью смапагда и панели
И солнцем окропленных пустырей.

4 марта 1923

Мы Запада последние осколки
В стране тесовых изб и азиатских вьюг.
Удел Овидия влачим мы в нашем доме...
- Да будь смелей, я поддержу, старик.

И бросил старика.Канал Обводный.
Тиха луна, тиха вода над ним.
Самоубийца я.Но ветер легким шелком
До щек дотронулся и отошел звеня.

18 марта 1923

Мы рождены для пышности для славы.
Для нас судьба угасших родников.
О, соловей, сверли о жизни снежной
И шелк пролей и вспыхивай во мгле.

Мы соловьями стали поневоле.
Когда нет жизни, петь нам суждено
О городах погибших, о надежде
И о любви кипящей как вино.

4 ноября 1923

Не пестрою, но радостной природой
И башнями колоколов не соблазнен,
Восток вдыхаю, бой и непогоду
Под мякотью шарманочных икон.

Шумит Москва, широк прогорклый говор,-
Но помню я александрийский звон
Огромных площадей и ангелов янтарных
И петербургских синих пустырей.

Тиха луна над голою поляной.
Стой человек в шлафроке! Не дыши!
И снова бой румяный и бахвальный
Над насурмленным бархатом реки.

1923

До белых барханов твоих
От струй отдаленного моря
Небывшей отчизны моей
Летают чугунные звуки.

Твои слюдяные глаза
И тело из красного воска...
В прозрачных руках города,
В ногах - Кавказские горы.

У гулких гранитов Невы
У домов своих одичалых
В колоннах Балтийской страны
Живет Петербургское племя.

Стучит на рассвете трава,
Купцы кричат на рассвете.
Раскосо славянской Руси
Сбирается прежнее вече.

И страшен у белых колонн
Под небом осенним и синим
Язык расписной, как петух
На древне-языческой хате.

*Григорию Шмерельсону*

Но знаю я, корабль спокоен,
Что он недвижим средь пучины,
Что не вернуться мне на берег,
Что только тень моя на нем.
Она блуждает ночью темной,
Она влюбляется и пляшет...

5 марта 1924

Час от часу редеет мрак медвяный
И зеленеют за окном листы.
Я чувствую - желаньем полон мрамор
Вновь низвести небесные черты.
В несозданном несотворенном мире,
Где все полно дыханием твоим,
Не назову гробницами пустыни
Я образы тревожные твои.
Охваченный твоим самосожженьем,
Не жду, что завтра просветлеешь ты
И все еще ловлю в дыму твое виденье
И уходящий голос твой люблю.
И для меня прекрасна ты,
И мать и дочь одновременно
Средь клочьев дыма и огня.
На ложах точно сна виденья
Сидим недвижны и белы,
И самовольное встает
Полулетящее виденье,
Неотразимое явленье.

Пред разноцветною толпою
Летящих пар по вечерам,
Под брызги рук ночных таперов
Нас было четверо:
Спирит с тяжелым трупом души своей,
Белогвардейский капитан
С неудержимой к родине любовью,
Тяжелоглазый поп,
Молящийся над кровью,
И я, сосуд пустой
С растекшейся во вся и все душою.
Далекий свет чуть горы освещал
И вывески белели на жилищах,
Когда из дома вышли трое в ряд
И побрели по пепелищу.
Я вышел тоже и побрел куда
Глаза глядят с невыносимой жаждой
Услышать моря плеск и парусника скрип
И торопливое деревьев колыханье.

январь 1925

Он думал: вот следы
Развернутого на горах искусства,
Сердца ли дам и усачей
С тяжелой лаской глаз.
Он слышал вновь летящие проспекты
И север в свете снеговом,
Пушистых дев белеющие плечи,
Летящих в море ледяном.
И в солнечном луче его друзья стояли,
Томимые как первые мечты,
О мире радости ему повествовали,
И новости ему в окно кидали,
Как башмачок, как нежные цветы.

Я стал просвечивающей формой,
Свисающейся ветвью винограда,
Но нету птиц, клюющих рано утром
Мои качающиеся плоды.
Я вижу длительные дороги,
Подпрыгивающие тропинки,
Разнохарактерные толпы
Разносияющих людей,
И выплывает в ночь Тептелкин,
В моем пространстве безызмерном
Он держит Феникса сиянье
В чуть облысевшей голове.
А на Москве-реке далекой
Стоит рассейский Кремль высокий,
В нем голубь спит
В воротничке,
Я сам сижу
На облучке,
Поп впереди - за мною гроб,
В нем тот же я - совсем другой,
Со мной подруга, дикий сад -
Луна над желтизной оград.

## *СТИХОТВОРЕНИЯ К РОМАНУ "КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ"*

\- - - - - - - - - - - - - - - -

1

Весь мир пошел дрожащими кругами
И в нем горел зеленоватый свет.
Скалу, корабль и девушку над морем
Увидел я, из дому выходя.

По Пряжке медленно за парой пара ходит
И рожи липкие. И липкие цветы.
С моей души ресниц своих не сводят
Высокие глаза твоей души.

2

## ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

В разноцветящем полумраке,
В венке из черных лебедей
Он все равно б развеял знаки
Минутной родины своей.
И говорил: "Усыновлен я,
Все время ощущаю связь
С звездой сияющей высоко
И может быть в последний раз.
Но нет, но нет, слова солгали,
Ведь умерла она давно.
Но как любовник не внимаю
И жду - восстанет предо мной.
Друг, отойди еще мгновенье...
Дай мне взглянуть на лоб златой,
На тонко вспененные плечи,
На подбородок кружевной.
Пусть, пусть Психея не взлетает -
Я все же чувствую ее
И вижу, вижу - вылезает
И предлагает помело.
И мы летим над бывшим градом,
Над лебединою Невой,
Над поредевшим Летним садом,
Над фабрикой с большой трубой.
Все ближе к солнечным покоям:
И плеч костлявых завитки,
Хребет синеющий и крылья
И хилый зад, как мотыльки.
Внизу все спит в ночи стоокой -
Дом Отдыха, Дворец Труда,
Меж томно-синими домами
Бежит философ, точно хлыст,

В пальто немодном, в летней шляпе
И, ножкой топнув, говорит:
"Все черти мы в открытом мире
Иль превращаемся в чертей.
Мне холодно, я пьян сегодня,
Я может быть последний лист".
Тептелкин, встав на лапки, внемлет
И ну чирикать из окна:
"Бессмыслица ваш дикий хохот,
Спокоен я и снова сыт".
И пред окном змеей гремучей
Опять вознесся Филострат
И, сев на хвостик изумрудный,
Простором начал искушать".
Летят надзвездные туманы,
С Психеей тонкою несусь
За облака, под облаками
Меж звездами и за луной.

3

Война и голод точно сон
Оставили лишь скверный привкус.
Мы пронесли высокий звон,
Ведь это был лишь слабый искус.

И милые его друзья
Глядят на рта его движенья,
На дряблых впадин синеву,
На глаз его оцепененье.

По улицам народ идет,
Другое бьется поколенье,
Ему смешон наш гордый ход
И наших душ сердцебиенье.

4

Нам в юности Флоренция сияла,
Нам Филострата нежного на улицах являла -
Не фильтрами мы вызвали его,
Не за околицей, где сором поросло.
Поэзией, как утро, сладкогласной
Он вызван был на улице неясной.

## *СТИХОТВОРЕНИЯ К РОМАНУ "ГАРПАГОНИАДА"*

\- - - - - - - - - - - - - - -

1

Тают дома. Любовь идет, хохочет
Из сада спелого эпикурейской ночи.

Ей снился юный сад,
Стрекочущий, поющий,
Веселые, как дети, голоса
И битвы шум, неясный и зовущий.

Как тяжела любовь в шестнадцать лет.
Ей кажется: погас прелестный свет,
И всюду лес встает ужасный и дремучий,
И вечно будет дождь, и вечно будут тучи.

2

В тиши ночной
Я жду тебя,
Тоскуя и любя,
Ты ангел чистый предо мной,
Люблю одну тебя.
Огнями полон гулкий зал,
Вокруг духи, цветы,
Тебя в толпе я отыскал,
Оркестр галоп играл.
Но вот другому отдана
Твоя рука,
И злая ждет меня судьба
Ночного игрока.
В Монако жизнь окончу я,
Где море так шумит,
И не узнаешь никогда,
Где юный труп зарыт.

## УКРАШЕНИЕ БЕРЕГОВ

Проспекты целятся стволами в зори;
Расплески зорь стекают по асфальту к нам,
И верфи их переливают в море,
В Неву, в озера, в Беломорканал.

Суровы берега, трудами взятые -
Мы их железным говором наполним;
Мы там поставим самые прямые статуи,
Которые когда-либо смотрели в волны.

В порту, где хрупкий край морской дороги
Упирается в медлительные реки,
Над постаментом праздничным и строгим
Прищурит Ленин бронзовые веки.

Легко поднимет четкую ладонь,
Черпнув ветров высокое движенье,
И над зеленой утренней водой
До самой Лахты лягут отраженья.

Сойдет по кранам вниз обеденная смена,
Оправив звонкие одежды Ильича,
Рабочий спрячет пламень автогена,
Поднимется на ровный скат его плеча.

И там увидит, над заливом стоя,
Как город блещущий, бездонный, гулкий
Врастает красным мясом новостроек
В щетинистую даль от Токсова до Пулкова.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ

ПЯТЫЙ ГОД

ФИЛОСТРАТ: "И дремлют львы, как изваянья,
И чудный Вакха голос звал
Меня в свои укромные пещеры,
Где все во всем открылось бы очам.
Свое лицо я прятал поздней ночью
И точно вор звук вынимал шагов
По переулкам до-нельзя опасным.
Среди усмешек девушек ночных,
Среди бродяг физических я чуял
Отожествление свое с вселенной,
Невыносимое мгновенье пережил."

Прошли года, он встретился с собою
У порога безлюдных улиц,
Покой зловещий он почувствовал в покоях
Богатых. И казался ему еще огромней
Город и еще ужасней рок певца,
И захотелось ему услышать воркованье
Голубей вновь.Почувствовать не плющ,
А руки возлюбленной.
Увидеть вновь друзей разнообразных,
Увенчанных бесславной смертью.
Его на рынках можно было встретить,
Где мертвые мертвечиной торгуют,
Он скарб, не прикасаясь, разбирал
Как будто бы его все это были вещи.

Тептелкин на бумагу несет "Бесов", обходит шажком фигуру, созерцающую бесконечность.

ТЕПТЕЛКИН: "А все же я его люблю,
Он наш, он наш от пят и до макушки,
Ведь он нас вечностью дарит
Под фиговым листком воображенья.
Дитя, пусть тешит он себя,
Но жаль, что не на Шпрее, не на Сене

Сейчас. Тогда воспользоваться им всецело
Могли бы мы. И бред его о Фениксе
Мы заменили б явью."

ФИЛОСТРАТ: "Какая ночь и звезды, но звезда
Одна в моих очах Венера
Иначе Люцифер - носительница света.
Труднее нет науки, чем мифология.
Средь пыльных фолиантов
Я жизнь свою охотно бы провел,
Когда со мной была бы ты, Психея.
Качаема волной стояла ты,
Глядя на город полуночный,
На приапические толпы,
На освещенье разноцветное реклам.
В природе ежечасно растворяясь
И ежечасно отделяясь от нее,
Устал я жить в движеньи торопливом
Толпы погруженной в себя.
Все снится мне, сияя опереньем,
Ты Фениксом взовьешься предо мной,
И что костер, толпы движенье
И человек костер перед тобой.
Что ж ты молчишь теперь,
Как будто изваянье, лишенное окраски
С тяжелыми крылами?
Тебя не выставлю на перекрестке,
Пока ты вновь крылами не блеснешь
И розовостью плеч полупрозрачных."

Тептелкин появляется на том месте, где должны былы бы быть двери.

ТЕПТЕЛКИН: "Вы здесь, маэстро,
Фрагмент вы новый
Готовите.

За вещь большую я не советую
Вам приниматься.
Спокойствие и возраст нам нужны
Для творчества спокойного теченья.
Теперь бы вам политикой заняться,
Через огонь и кровь
Необходимо вам пройти."

Наступает вечер, рынок замолкает, торговцы упаковывают свой скарб. На тележках видны японские вазы, слоновая кость, выключатели, подставки от керосиновых ламп.

Лавка книжника.

КНИЖНИК: "Вот "Ночи" Юнга. Дешево я уступлю
Вам.Получите вы наслажденье сильнейшее.
Зажжете вечерком свечу или иное
В наш век необычайное изобретете освещенье,
Повесите Помпей изображенье,
Заглянете в альбом Пальмиры,
Вздохнете об исчезновеньи Вавилона
И о свинцовом скиптре мрачныя царицы
Читать начнете."

ФИЛОСТРАТ: " Я не за тем.Другого автора
Я как-то пропустил,
Он мне сегодня снился ночью.
Я вспомнил, года два тому назад он был
У вас на нижней полке.
Его "Аттические ночи" я ищу.
Должны вы были настоять,
Чтоб я купил их.
Помните, в тот вечер.
Когда шел снег и дождь
И красною была луна,

Я забежал в своей крылатке мокрой
За Клавдианом в серых переплетах."

КНИЖНИК: "Вы каждый день заходите.
В крылатке, насколько помню,
Не забегали вы. А книги
В мышиных переплетах все проданы.
Вот "Ночи" Юнга, редкий экземпляр
С французского на итальянский,
Он вам необходим для постиженья душ.
Его для вас я выбрал в куче хлама."

(Филострат убегает)

Свист бури. Шестой этаж, черный ход, перед дверью помойное ведро. Стены увешаны потертыми и продранными коврами. Прыгают блохи.

ЦЫГАНКА: "Так в Бога вы не веруете?"

ФИЛОСТРАТ: "Нет."

Улица. Цыганка с Тептелкиным идет под ручку. Тептелкин несет подмышкой гитару в футляре.

ЦЫГАНКА: "Скажите, он опасный человек?"

ТЕПТЕЛКИН: "Безумец жалкий."

Тептелкин и цыганка входят в подъезд яркоосвещенного дома. Бал-маскарад. Тептелкин под руку с Филостратом.

ТЕПТЕЛКИН: "Поете вы,
Как должно петь темно и непонятно.
Игрою слов пусть назовут глупцы
Ваш стих.Вы притворяетесь

Искусно.Не правда ли,
Безумие, как средство, изобрел
Наш старый идол Гамлет.
О все рассчитано и взвешено
И каждый поворот
И слово каждое,
Как будто вы искусству преданы,
Сомнамбулой,как будто,
Ступаете между землей и небом.
О, вспоминаю, как мы играли
В бабки в детстве на дворе,
То-есть играл лишь я,
А вы прохаживались, вдохновляясь
Прекрасным воздухом воображаемыя рощи.
Как сад прекрасен, говорили вы -
Не то, что садики голландские
С шарами и гномами
С лоснящейся улыбкой.
Аллеи здесь прямы и даже школы Алкамена
Я видел торс, подверженный отбросам
Ребячьих тел, сажаемых заботливою няней.
Немудрено - затем услышали вы море
В домашней передряге."

ДАМА: "Вы ищете неповторимого искусства,
Вы чувствующий повторяемость всего,
Оно для вас прибежище свободы.
Идемте в сад, здесь так несносен шум.
Ах! Боже мой! Сияющие пары.
Подумать только - молодость прошла.
Я удивляюсь, как вы вне пространства
Из года в год сжигаете себя."

Комната Филострата. Филострат лежит. Читает:

"И одеяло дыр полно
И в комнате полутемно,
И часовщик дрожит в стене,
Он времени вернейший знак,
Возникший и нежданный враг.
Не замечая, мы живем
И вдруг морщины узнаем."
И Филострат с постели скок
И на трехногий стул присел,
Достал он зеркало. Увы!
Увидел за собой сады
И всплески улиц, взлет колонн,
Антамблементов пестрый хор.
Не тиканье часовщика,
А музыка в груди его.
"Прекрасна жизнь - небытие
Еще прекрасней во сто крат,
Но умереть я не могу.
Пусть говорят, что старый мир
Опасен для ума людей,
Что отрывает от станков
И от носящихся гудков.
Увы! Чем старше, тем скорей
Наступит молодость моя.
Сейчас я стар, а завтра юн
И улыбаюсь сквозь огонь."

Верба

Летит московский раскидай
Весь позолочен, как Китай,
Орнаментальные ларцы
С собою носят кустари.
Тептелкин важно, точно царь,
Идет осматривать базар.
"Вот наша Русь, - он говорит, -

Заморских штучек не люблю.
Советы - это наша Русь,
Они хранились в глубине
Под византийскою парчой,
Под западною чепухой."

Филострат идет с рукописью в театр.

Первый акт. Темно.

ФИЛОСТРАТ: "Страшнее жить нам с каждым годом,
Мы правим пир среди чумы
Погружены в свои печали.
Сады для нас благоухают,
Мы слышим моря дальний гул,
И мифологией случайной
Мы вызываем страшный мир
В толпу и в город малолюдный,
Где мертвые тела лежат,
Стоит прекрасна и бела
Венеры статуя и символ.
Садитесь, Сильвия,
Составил я стихотворение для вас:
"Стонали, точно жены, струны -
Ты в черных нас не обращай
И голубями в светлом мире
Дожить до растворенья дай.
Чтоб с гордостью неколебимой
Высокие черты несли,
Как излияние природы,
Ушедшей в бесполезный цвет,
Сейчас для нищих бесполезный."

СИЛЬВИЯ: "Мне с вами страшно,
Зачем бередить наши раны.
Еще не утеряли свет
Земля и солнце и свобода.
Возьмемте книгу и пойдем
Читать ее под шелесты фонтанов,
Пока охваченные сном
Друзья покоятся.
Забудем город.
Есть в статуях вина очарованье
Высокой осени пьянящие плоды,
Они особенно румяны,
Но для толпы бесцветны и бледны
И как бы порожденье злобной силы
Они опять стихией стали тьмы."

В конце аллеи появляется старик философ:

"Увы, жива мифологема
Боренья света с тьмой.
Там в городе считают нас чумными,
Мы их считать обречены.
Оттуда я, ужасную Венеру
Там вознесли. Разрушен брак
И семьи опустели, очаги замолкли.
Небесную Венеру вы здесь храните,
Но все мифологема."

"Ушел старик, боюсь, он занесет заразу в наш замок.
С некоторых пор веселье как-то иссякает наше,
Все реже слышны скрипки по ночам,
Все реже опьянение нисходит.
И иногда мне кажется, что мы
Окружены стеной недобровольно."

Во дворе появляется человек:

"Наш дивный друг всегда такой веселый
Повесился над Данта песнью пятой.
Нам Дант становится опасен,
Хотя ни в ад, ни в рай не верим мы."

Песнь оставшихся в замке:

"Любовь и дружба и вино,
Пергамент, песня и окно,
Шумит и воет Геллеспонт,
Как чернобурный Ахеронт.
На берегу стоим, глядим,
К своим возлюбленным летим.
Свеча горит для нас, для нас,
Ее огонь спасает нас
От смерти лысой и рябой
В плаще и с длинною косой."

Песня Сильвии:

"Но не сирены - соловьи
Друзья верны, друзья верны
И не покинут в горе нас,
Светить нам будут в бурный час,
Как маяки для кораблей,
Как звезды в глубине ночей.
Вода сияет, бьет вода,
Сижу я с пряжею над ней -
Вот сердце друга моего,
Заштопать сердце мне дано,
Чтоб вновь сияло и цвело
И за собой вело, вело! "

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА: "Избрали греческие имена синьоры,
Ушли из города, засели в замке,
Поэзию над смертью развели
И музыкой от дел нас отвлекают.
То снова им мерещится любовь,
Наук свободных ликованье,
Искусств бесцельных разговор
И встречи в зданиях просторных.
Но непокорных сдавим мы,
Как злобной силы проявленье.
Скульптор льет статую,
Но твердо знаем мы -
В ней дух живет его мировоззренья,
Должны ему мы помешать
И довести до исступленья.
Поэт под нежностью подносит нам оскал,
Под вычурами мыслью жалит,
А музыкант иною жизнью полн,
Языческою музыкой ласкает.
Ты посмотри, они бледны
И тщетно вырожденье прикрывают
В одежды светлые облачены
Змеиным ядом поражают."

ЮПИТЕР: "Меркурий, что видишь ты?"

МЕРКУРИЙ: "Я вижу девушку в листве струистой,
Она готовится купаться в вихре света
И с ней стоит толпа несчастных гномов."

ВЕНЕРА: "Ты зол на них, Меркурий,
Хоть век твой наступил,
В моем пребудут веке."

ЮПИТЕР: "Неподчинение судьбе карается жестоко."

ВАКХ: "Я подкреплю их силой опьяненья."

АПОЛЛОН: "Искусства им дадут забвенье."

ВЕНЕРА: "Любовниками истинными будут."

Статуи прохаживаются. Одни идут гордо и ...*
Другие печально. Венеру ведут под руки Вакх и Аполлон, она идет пошатываясь и опустив голову. На лужайке музы исполняют простонародные песни и пляски. В зале шум. Тептелкин вскакивает:

"Нам опять показали кукиш в кармане."

июнь 1925

* Пропуск в рукописном списке.

# ОПЫТЫ СОЕДИНЕНИЯ СЛОВ

# ПОСРЕДСТВОМ РИТМА

# ПОЭМА КВАДРАТОВ

1

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша.
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.

2

На скоротечный путь вступаю неизменно,
Легка нога, но упадает путь:
На Киликийский Тавр - под ухом гул гитары,
А в ресторан - но рядом душный Тмол.
Да, человек подобен океану,
А мозг его подобен янтарю,
Что на брегах лежит, а хочет влиться в пламень
Огромных рук, взметающих зарю.
И голосом своим нерукотворным
Даруя дань грядущим племенам,
Я знаю - кирпичом огнеупорным
Лежу у христианских стран.
Струна гудит, и дышат лавр и мята
Костями эллинов на ветряной земле,
И вот лечу, подхваченный спиралью.
Где упаду?

3

И вижу я несбывшееся детство,
Сестры не дали мне, ее не сотворить
Ни рокоту дубрав великолепной славы,

Ни золоту цыганского шатра.
Да, тело - океан, а мозг над головою
Склонен в зрачки и видит листный сад
И времена тугие и благие
Великой Греции.

4

Скрутилась ночь. Аиша, стан девичий,
Смотри, на лодке, Пряжку серебря,
Плывет заря.Но легкий стан девичий
Ответствует: " Зари не вижу я."

5

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша,
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.

6

Покатый дом и гул протяжных улиц.
Отшельника квадратный лоб горит.
Овальным озером, бездомным кругом
По женским плоскостям скользит.
Да, ты, поэт, владеешь плоскостями,
Квадратами ямбических фигур.
Морей погасших не запомнит память,
Ни белизны, ни золота Харит.

июнь 1922

Любовь страшна не смертью поцелуя,
Но скитом яблочным, монашеской ольхой,
Что пронесутся в голосе любимой
С подщелкиваньем резким: "Упокой."
Давно легли рассеянные пальцы
На плечи детские и на бедро твое, -
И позабыл и волк, и волхв, и лирник
Гортанный клекот лиры боевой.
Мой конь храпит и мраморами брызжет.
Не променяю жизнь на мрамор и гранит,
Пока в груди живое сердце дышит,
Пока во мне живая кровь поет.
Кует заря кибитку золотую,
Пегас, взорли кипящую любовь, -
Так говорю, и музу зрю нагую
В плаще дырявом и венке из роз.
Богоподобная, пристало ли томиться,
Оставь в покое грешного певца.
Колени женские прекраснее, чем лица
Прекрасномраморного мудреца.
Любовь страшна, монашенкою смуглой
Ты ждешь меня и плачешь на заре,
Ольха скрипит, ракитный лист кружится,
и вместо явства уксус и полынь.

июнь 1922

*Человек*

Среди ночных блистательных блужданий,
Под треск травы, под говор городской,
Я потерял морей небесных пламень,
Я потерял лирическую кровь.
Когда заря свои подъемлет перья,
Я у ворот безлиственно стою,
Мой лучезарный лик в чужие плечи канул,
В крови случайных женщин изошел.

*Хор*

Вновь повернет заря.В своей скалистой ночи
Орфей раздумью предан и судьбе,
И звуки ластятся, охватывают плечи
И лире тянутся, но не находят струн.

*Человек*

Не медномраморным, но жалким человеком
Стою на мраморной просторной вышине.
А ветр шумит, непойманные звуки
Обратно падают на золотую ночь.
Мой милый друг, сладка твоя постель и плечи.
Что мне восторгов райские пути?
Но помню я весь холод зимней ночи
И храм большой над синей крутизной.

*Хор*

Обыкновенный час дарован человеку.
Так отрекаемся, едва пропел петух,
От мрамора, от золота, от хвои
И входим в жизнь, откуда выход - смерть.

август 1922

Шумит Родос, не спит Александрия,
И в черноте распущенных зрачков
Встает звезда, и легкий запах море
Горстями кинуло.И снова рыжий день.
Поэт, ты должен быть изменчивым, как море,-
Не заковать его в ущелья гулких скал.
Мне вручены цветущий финский берег
И римский воздух северной страны.

ноябрь 1922

Я полюбил широкие каменья,
Тревогу трав на пастбищах крутых,-
То снится мне.Наверно день осенний,
И дождь прольет на улицах благих.
Давно я зряч, не ощущаю крыши,
Прозрачен для меня словесный хоровод.
Я слово выпущу, другое кину выше,
Но все равно, они вернутся в круг.
Но медленно волов благоуханье,
Но пастухи о праздности поют,
У гор двугорбых, смуглогруды люди,
И солнце виноградарем стоит.
Но ты вернись веселою подругой, -
Так о словах мы бредили в ночи.
Будь спутником, не богом человеку
Мой медленный раздвоенный язык.

январь 1923

В селеньях городских, где протекала юность,
Где четвертью луны не в меру обольщен...
О, море, нежный братец человечий,
Нечеловеческой тоски исполнен я.
Смотрю на золото предутренних свечений,
Вдыхаю порами балтийские ветра.
Невозвратимого не возвращают,
Напрасно музыка играет по ночам,
Не позабуду смерть и шелестенье знаю
И прохожу над миром одинок.

февраль 1923

Крутым быком пересекая стены,
Упал на площадь виноградный стих.
Что делать нам, какой суровой карой
Ему сиянье славы возвратим?
Мы закуем его в тяжелые напевы,
В старинные чугунные слова,
Чтоб он звенел, чтоб надувались жилы,
Чтоб золотом густым переливалась кровь.
Он не умрет, но станет дик и темен.
И будут жить в груди его слова,
И возвышает голос он, и голосом подобен
Набегу волн, сбивающих дома.

февраль 1923

У трубных горл, под сенью гулкой ночи,
Ласкаем отблеском и сладостью могил,
Воспоминаньями телесными томимый,
Сказитель тронных дней, не тронь судьбы моей.
Хочу забвения и молчаливой нощи,
Я был не выше, чем трава и червь.
Страдания мои - страданья темной рощи,
И пламень мой - сияние камней.
Средь шороха домов, средь кирпичей крылатых
Я женщину живую полюбил,
И я возненавидел дух искусства
И, как живой, зарей заговорил.
Но путник тот, кто путать не умеет.
Я перепутал путь - быть зодчим не могу.
Дай силу мне отринуть жезл искусства,
Природа - храм, хочу быть прахом в ней.
И снится мне, что я вхожу покорно
В широкий храм, где пашут пастухи,
Что там жена, подъемлющая сына,
Средь пастухов, подъемлющих пласты.
Взрощен искусством я от колыбели,
К природе завистью и ненавистью полн,
Все чаще вспоминаю берег тленный
И прах земли, отвергнутые мной.

Февраль 1923

И пестрой жизнь моя была
Под небом северным и острым,
Где мед хранил металла звон,
Где меду медь была подобна.
Жизнь нисходила до меня,
Как цепь от предков своенравных,
Как сановитый ход коня,
Как смугломраморные лавры.
И вот один среди болот,
Покинутый потомками своими,
Певец-хранитель город бережет
Орлом слепым над бездыханным сыном.

февраль 1923

Не человек: все отошло и ясно,
Что жизнь проста.И снова тишина.
Далекий серп богатых Гималаев,
Среди равнин равнина я
Неотделимая.То соберется комом,
То лесом изойдет, то прошумит травой.
Не человек: ни взмахи волн, ни стоны,
Ни грохот волн и отраженье волн.
И до утра скрипели скрипки,-
Был ярок пир в потухшей стороне.
Казалось мне, привстал я человеком,
Но ты склонилась облаком ко мне.

март 1923

"Я воплотил унывный голос ночи,
Всех сновидений юности моей.
Мне страшно, друг, я пережил паденье,
И блеск луны и город голубой.
Прости мне зло и ветреные встречи,
И разговор под кущей городской."
    Вдруг пир горит, друзья подъемлют плечи,
    Толпою свеч лицо освещено.
"Как странно мне, что здесь себя я встретил,
Что сам с собой о сне заговорил."
    А за окном уже стихает пенье,
    Простерся день равниной городской.

*Хор*

"Куда пойдет проснувшийся средь пира,
Толпой друзей любезных освещен?"
Но крик горит:
"Средь полунощных сборищ
Дыханью рощ напрасно верил я.
Средь очагов, согретых беглым спором,
Средь чуждых мне проходит жизнь моя.
Вы скрылись, дни сладчайших разрушений,
Унылый визг стремящейся зимы
Не возвратит на низкие ступени
Спешащих муз холодные ступни.
Кочевник я среди семейств, спешащих
К безделию.От лавров далеко
Я лиру трогаю размеренней и строже,
Шатер любви простерся широко.
Спи, лира, спи.Уже Мария внемлет,
Своей любви не в силах превозмочь,
И до зари вокруг меня не дремлет
Александрии башенная ночь."

июль 1923

Один средь мглы, среди домов ветвистых
Волнистых струн перебираю прядь.
Так ничего, что плечи зеленеют,
Что язвы вспыхнули на высохших перстах.
Покойных дней прекрасная Селена,
Предстану я потомкам соловьем,
Слегка разложенным, слегка окаменелым,
Полускульптурой дерева и сна.

ноябрь 1923

Под гром войны тот гробный тать
Свершает путь поспешный,
По хриплым плитам тело волоча.
Легка ладья.Дома уже пылают.
Перетащил.Вернулся и потух.
  Теперь одно: о, голос соловьиный!
  Перенеслось:
  "Любимый мой, прощай."
Один на площади среди дворцов змеистых
Остановился он - бессмысленная мгла.
Его же голос, сидя в пышном доме,
Кивал ему, и пел, и рвался сквозь окно.
И видел он горящие волокна,
И целовал летящие уста,
Полуживой, кричащий от боязни
Соединиться вновь - хоть тлен и пустота.
Над аркою коням Берлин двухбортный снится,
Полки примерные на рысьих лошадях,
Дремотною зарей разверчены собаки,
И очертанье гор бледнеет на луне.
И слышит он, как за стеной глубокой
Отъединенный голос говорит:
  "Ты вновь взбежал в червонные чертоги,
  Ты вновь вошел в веселый лабиринт."
И стол накрыт, пирует голос с другом,
Глядят они в безбрежное вино.
А за стеклом, покрытым тусклой вьюгой,
Две головы развернуты на бой.

ноябрь 1923

Вблизи от войн, в своих сквозных хоромах,
Среди домов, обвисших на полях,
Развертывая губы, простонала
Возлюбленная другу своему:
"Мне жутко, нет ветров веселых,
Нет парков тех, что помнили весну,
Обоих нас, блуждавших между кленов,
Рассеянно смотревших на зарю.
О, вспомни ночь.Сквозь тучи воды рвались,
Под темным небом не было земли,
И ты восстал в своем безумьи тесном
И в дождь завыл о буре и любви.
Я разлила в тяжелые стаканы
Спокойный вой о войнах и волках,
И до утра под ветром пировала,
Настраивая струны на уа.
И видел домы ты, подстриженные купы,
Прощальный голос матери твоей,
Со мной, безбрежный, ты скитался
И тек, и падал, вскакивал, пенясь. "

ноябрь 1923

И лирник спит в проснувшемся приморье,
Но тело легкое стремится по струнам
В росистый дом, без крыши и без пола,
Где с другом нежным юность проводил.
И голос вдруг во мраморах рыдает:
    "О, друг меня побереги.
    Своим дыханием расчетным
    Мое дыханье не лови."

январь 1924

Как хорошо под кипарисами любови
На мнимом острове, в дремотной тишине
Стоять и ждать подруги пробужденье,
Пока зарей холмы окружены.
Так возросло забвенье. Без тревоги,
Ясней луны, сижу на камне я.
За мной жена, свои простерши косы,
Под кипарисы память повела.

январь 1924

ПСИХЕЯ

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
За ней весна свои цветы колышет,
За ним заря, растущая заря.
И снится им обоим, что приплыли
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою,
В спокойный дом на берегах Невы.

январь 1924

О, сделай статуей звенящей
Мою оболочку, Господь,
Чтоб после отверстого плена
Стояла и пела она
О жизни своей ненаглядной,
О чудной подруге своей,
Под сенью смарагдовой ночи,
У врат Вавилонской стены.
Для вставшего в чреве могилы
Спокойная жизнь не страшна,
Он будет, конечно, влюбляться
В домовье, в жену у огня.
И ложным покажется ухо,
И скипетроносный прибой,
И золото черного шелка
Лохмотий его городов.

апрель 1924

Из женовидных слов змеей струятся строки,
Как ведьм распахнутый кричащий хоровод,
Но ты храни державное спокойство,
Зарею венчанный и миртами в ночи.
И медленно, под тембр гитары темной,
Ты подбирай слова, и приручай и пой,
Но не лишай ни глаз, ни рук, ни ног зловещих,
Чтоб каждое неслось, но за руки держась.
И я вошел в слова, и вот кружусь я с ними,
Танцую в такт над дикой крутизной,
Внизу дома окружены зарею,
И милая жена, как темное стекло.

апрель 1924

Под лихолетьем одичалым,
Среди проулков городских
Он еле видной плоской тенью
Вдруг проскользнул и говорит:
"Мне вспыхивать, другим - сиянье.
Но вспыхиванье - суета.
Я оборвался средь зияний,
До вас разверзлась жизнь моя."
И тихий шопот плыл под дубом,
И семиградный встал слепец,
Заговорил в домашнем круге
О друге юности своей:
"Он не обуздан был средь бдений
Под сновиденьем городским,
Не жизнь искал он - сладкой доли
Жизнь проводить среди ночей."

апрель 1924

В одежде из старинных слов
На фоне мраморного хора
Свой острый лик я погрузил в партер,
Но лилия явилась мне из хора.
В ее глазах дрожала глубина
И стук сиял домашнего вязанья.
А на горе фонтана красный блеск,
Заученное масок гоготанье.
И жизнь предстала садом мне,
Увы, не пышным польским садом.
И выступаю из колонн
Моих ночей мрачноречивых.
Но как мне жить средь людных очагов,
В плаще трагическом героя,
С привычкою все отступать назад
На два шага с откинутой спиною.

апрель 1924

Поэзия есть дар в темнице ночи струнной,
Пылающий, нежданный и глухой.
Природа мудрая всего меня лишила,
Таланты шумные, как серебро взяла.
И я, из башни свесившись в пустыню,
Припоминаю лестницу в цвету,
По ней взбирался я со скрипкой многотрудной,
Чтоб волнами и миром управлять.
Так в юности стремился я к безумью,
Загнал в глухую темь познание мое,
Чтобы цветок поэзии прекрасной
Питался им, как почвою родной.

сентябрь 1924

## ОТШЕЛЬНИКИ

Отшельники, тристаны и поэты,
Пылающие силой вещества -
Три разных рукава в снующих дебрях мира,
Прикованных к ластящемуся дну.
Среди людей я плыл по морю жизни,
Держа в цепях кричащую тоску;
Хотел забыться я у ног любви жемчужной,
Сидел смеясь на днище корабля.
Но день за днем сгущалось оперенье
Крылатых туч над головой тройной.
Корон златых[1] все тише шелестенье,
Среди пустынь вдруг очутился я.
И слышу песнь среди руин высоких,
Среди колонн без лавра и плюща:[2]
"Пустынна жизнь среди Пальмир несчастных,
Где молодость как виноград цвела
В руках умелых садовода
Без лиц в трех лицах божества.
В его садах необозримых
Неутолимы и ясны
Выходят из развалин пары
И вспыхивают на порогах мглы.
И только столб стоит в пустыне
В тяжелом пурпуре зари
И бородой Эрот играет,
Копытцами переступает
На барельефе у земли."[3]

---

1 Парафраза вместо "вершины (кроны) деревьев, освещенные солнцем."

2 Это поет первая ипостась его - поэт.

3 На барельефе изображен Эрот, ставший сатиром. Не так ли вырождается любовь?

Не растворяй в сырую ночь, Геката,
Среди пустынь пустую жизнь влачу,
Как изваяния, слова сидят со мною
Желанней пиршества и тише пирамид.
И выступает город многолюдный
И рынок спит в объятьях тишины,
Средь антикваров желчных говорю я:
"Пустынных форм томительно ищу."
Смолкает песнь, Тристан рыдает
В расщелине у драгоценных плит:
"О, для того-ль Изольды сердце
Лежало на моей груди,
Чтобы она, как Филомела,
Взлетела в капище любви,
Чтобы она прекрасной птицей
Кричала на ночных брегах..."
Пересекает голос лысый
Из кельи над рекой пустой:
"Не вожделел красот я мира,
Мой кабинет был остеклен,
За ними книги в пасти черной,
За книгами - сырая мгла.
Но все ке я искал названий
И пустоту обогащал,
Наследник темный схимы темной,
Сухой и бледный, как монах.
С супругой нежной в жар вечерний
Я не спускался в сад любви..."
Но выступает столб в пустыне,
Шаги из келии ушли
И в отдаленных переходах
На разрисованных цветах
Пространство музыкой светилось,

Как будто полднем озарилась
Невидимой, но ощутимой речъ:[4]
"Когда из волн я восходила
На итальянские поля...
Но здесь нежданно я нашла
Остаток сына в прежнем зале.
Он красен был и молчалив,
Когда его я поднимала,
И ни кудрей и ни чела,
Но все же крылышки дрожали."
И появившись вдалеке
В плаще багровом, в ризе синей,
Седые космы распустив,
Она исчезла средь пустыни.
И смолкло все.Как лепка рук умелых:
Тристан в расщелине лежит,
Отшельник дремлет в келье книжной,
Поэт кричит, окаменев.
Зеленых крон все громче шелестенье.
На улице у растопыренных громад
Очнулся я.Преходит час весенний,
Свершенный день раскрылся у ворот.

май-октябрь 1924

---

4 Слышится голос невидимой Венеры, она вспоминает, как вторично рождалась на берегах Италии (Боттичелли и пр.)

Одно неровное мгновенье
Под ровным оком бытия
Свершаю путь я по пустыне,
Где искушает скорбь меня.
В шатрах скользящих свет не гаснет,
И от зари и до зари
Венчаюсь скорбью и прощаюсь,
И вновь венчаюсь до зари.
Как будто скорбь владеет мною,
Махнет платком - и я у ног,
И чувствую: за поцелуй единый
Я первородством пренебрег.

сентябрь 1924

## АНАХАРЗИС

Под чудотворным нежным звоном
Игральных слов стою опять.
Полудремотное существованье -
Вот, что осталось от меня.
Так сумасшедший собирает
Осколки, камешки, сучки,
Переменясь, располагает
И слушает остатки чувств.
И каждый камешек напоминает
Ему - то тихий говор хат,
То громкие палаты дожей,
Быть может, первую любовь
Средь петербургских улиц шумных,
Когда вдруг вымирал проспект,
И он с подругой многогульной
Который раз свой совершал пробег,
Обеспокоен смутным страхом,
Рассветом, детством и луной.
Но снова ночь благоухает,
Янтарным дымом полон Крым,
Фонтаны бьют и музыка пылает,
И нереиды легкие резвятся перед ним.

октябрь 1924

Не тщись, художник, к совершенству,
Поднять резец искривленной рукой,
Но выточи его, покрой изящным златом
И со статуей рядом положи.
И магнетически притянутые взоры
Тебя не проглядят в разубранном резце,
А статуя под покрывалом темным
В венце домов останется молчать.
Но прилетят года, резец твой потускнеет,
Проснется статуя и скинет темный плащ
И, патетически перенимая плач,
Заговорит, притягивая взоры.

октябрь 1924

О, сколько лет я превращался в эхо,
В стоящий вихрь развалин теневых.
Теперь я вырвался, свободный и скользящий,
Я на балкон взошел, где юность начинал.
И снова стрелы улиц освещенных
Марионетную толпу струили подо мной.
И мне казалось, в этот час отвесный
Я символистом свесился во мглу,
Седым и пережившим становленье,
И оперяющим опять глаза свои,
И одиночество при свете лампы ясной,
Когда не ждешь восторженных друзей,
Когда поклонницы стареющей оравой
На креслах наступившее хулят.
Нет, я другой.Живое начертанье
Во мне растет, как зарево.
Я миру показать обязан
Вступление зари в еще живые ночи.

декабрь 1924

Да, целый год я взвешивал,
Но не понять мне моего искусства.
Уже в садах осенняя прохлада,
И дети новые друзей вокруг меня.
Испытывал я тщетно книги
В пергаментах суровых и новые
Со свежей типографской краской.
В одних наитие, в других же - сочетанье,
Расположение - поэзией зовется.
Иногда
Больница для ума лишенных снится мне,
Чаще сад и беззаботное чириканье,
Равно невыносимы сны.
Но забываюсь часто, попрежнему
Бессмысленно хватаю я бумагу -
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движенье элементов,
И образы под яростным лучом -
На миг. И все опять исчезло.
Хотел бы быть ученым, постепенно
Он мысль свою доводит до конца.
А нам одно блестящее мгновенье,
И упражненье месяцы и годы,
Как в освещенном плещущей луной
Монастыре.
Пастушья сумка, заячья капустка,
Окно с решеткой, за решеткой свет
Во тьме повис.И снова я пытаюсь
Восстановить утраченную цепь,
Звено в звено медлительно вдеваю.
И кажется, что знал я все
В растраченные юношества годы.
Умолк на холмах колокольный звон,
Покойников хоронят ранним утром,
Без отпеваний горестных и трудных,
Как будто их субстанции хранятся

Из рода в род в телах живых.
В своей библиотеке позлащенной
Слежу за хороводами народов
И между строк прочитываю книги,
Халдейскою наукой увлечен.
И тот же ворон черный на столе,
Предвестник и водитель Аполлона.
Но из домов трудолюбивый шум
Рассеивает сумрак и тревогу.
И новый быт слагается,
Совсем другие песни
Поются в сумерках в одноэтажных городах.
Встают с зарей и с верой в первородство,
Готовятся спокойно управлять
До наступленья золотого века.
И принужденье постепенно ниспадает,
И в пеленах проснулося дитя,
Кричит оно, старушку забавляя,
И пляшет старая с толпою молодой.

## ВОРОН

Прекрасен, как ворон, стою в вышине,
Выпуклы архаически очи.
Вот ветку прибило, вот труп принесло.
И снова тина и камни.
И, важно ступая, спускаюсь со скал
И в очи свой клюв погружаю.
И чудится мне, что я пью ясный сок,
Что бабочкой переливаюсь.

январь 1926

На крышке гроба Прокна
Зовет всю ночь сестру свою,
В темнице Филомела.
Ни петь, ни прясть, ни освещать
Уже ей в отчем доме.
Закрыты двери на запор,
А за дверьми дозоры.
И постепенно, день за днем
Слова позабывает,
И пеньем освещает мрак
И звуками играет.
Когда же вновь открылась дверь,
Услышали посланцы,
Как колыханье волн ночных,
Бессмысленное пенье.
Щебечет Прокна и взлетает
В лазури ясной под окном.
А соловей полночный тает
На птичьем языке своем.

1926

И снова мне мерещилась любовь
На диком дне.В взвивающемся свисте,
К ней все мы шли.Но берега росли.
Любви мы выше оказались.
И каждый, вниз бросая образ свой,
Его с собой мелодией связуя,
Стоял на берегу, растущем в высоту,
Своим же образом чаруем.

1926

Над миром рысцой торопливой
Бегу я спокоен и тих.
Как будто обтечь я обязан
И каждую вещь осмотреть.
И мимо мелькают и вьются,
Заметно к могилам спеша,
В обратную сторону тени
Когда-то любимых людей.
Из юноши дух выбегает,
А тело, старея, живет,
А девушки синие очи
За нею, как глупость, идут.

1926

В стремящейся стране, в определенный час
Себя я на пиру встречаю,
Когда огни застигнуты зарей
И, как цветы, заметно увядают.
Иносказаньем кажется тогда
Ночь, и заря, и дуновенье,
И горький парус вдалеке,
И птиц сияющее пенье.

1926

ЭВРИДИКА

Зарею лунною, когда я спал, я вышел,
Оставив спать свой образ на земле.
Над ним шумел листвою переливной
Пустынный парк военных дней.
Куда итти легчайшими ногами?
Зачем смотреть сквозь веки на поля?
Но музыкою из тумана
Передо мной возникла голова.
Ее глаза струились,
И губы белые влекли,
И волосы сияньем извивались
Над чернотой отсутствующих плеч.
И обожгло: ужели Эвридикой
Искусство стало, чтоб являться нам,
Рассеянному поколению Орфеев,
Живущему лишь по ночам.

1926

## ПСИХЕЯ

Любовь - это вечная юность.
Спит замок Литовский во мгле.
Канал проплывает и вьется,
Над замком притушенный свет.
И кажется солнцем встающим
Психея на дальнем конце,
Где тоже канал проплывает
В досчатой ограде своей.

1926

Тебе примерещился город,
Весь залитый светом дневным,
И шелковый плат в тихом доме,
И родственников голоса.
Быть может, сочные луны
Мерцают плодов над рекой,
Быть может, ясную зрелость
Напрасно мы ищем с тобой!
Все так же, почти насмехаясь,
Года за годами летят,
Прекрасные очи подруги
Все так же в пространство глядят.
Мне что - повернусь, не замечу,
Как год пролетел и погас.
    Но для нее цветы цветут,
    К цветам идет она.
    И в поднебесьи голоса
    И голоса в траве.

1926

Я восполненья не искал.
В своем пространстве
Я видел образ женщины, она
С лицом, как виноград, полупрозрачным,
Росла со мной и пела и цвела.
Я уменьшал себя и отправлял свой образ
На встречу с ней в глубокой тишине.
Я - часть себя. И страшно и пустынно.
Я от себя свой образ отделил.
Как листья скорчились и сжались мифы.
Идололатрией в последний раз звеня,
На брег один, без Эвридики,
Сквозь Ахеронт пронесся я.

1926

## НОЧЬ

И мы по опустевшему паркету
Подходим к просветлевшим зеркалам.
Спит сад, покинутый толпою,
Среди дубов осина чуть дрожит
И лунный луч, земли не достигая,
Меж туч висит.
И в глубине, в переливающемся зале,
Танцуют, ходят, говорят.
Один сквозь ручку к даме гнется,
Другой медлительно следит
За собственным отображеньем,
А третий у камина спит
И видит Рима разрушенье.
И ночь на парусах стремится,
И самовольное встает
Полулетящее виденье:
- Средь вас я феникс одряхлевший.
В который раз, под дивной глубиной
Неистребимая, я на костре воскресну,
Но вы погибнете со мной. -
- Спокойны мы, за огненной заставой
Ты временно забудешь нас.
Не в глубине глухих пещер
Стоит твое изображенье,
Оно развеяно везде
И связано с тобою нераздельно,
Куда б не залетела ты
Ты свой состав не переменишь.
Сквозь дым и жар Психея слышит
Далекий погребальный звон.
Ей кажется - огонь чужое тело ломит.
Пред нею выступает мир
Сперва в однообразии прозрачном.

1926

## МУЗЫКА

В книговращалищах летят слова.
В словохранилищах блуждаю я.
Вдруг слово запоет, как соловей -
Я к лестнице бегу скорей,
И предо мною слово точно коридор,
Как путешествие под бурною луною
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
Не в звуках музыка - она
Во измененьи образов заключена
Ни О, ни А, ни звук иной
Ничто пред музыкой такой.
Читаешь книгу - вдруг поет
Необъяснимый хоровод,
И хочется смеяться мне
В нежданном и весеннем дне.

1926

За ночью ночь пусть опадает,
Мой друг в луне
Сидит и в зеркало глядится.
А за окном свеча двоится
И зеркало висит, как птица,
Меж звезд и туч.
    "О, вспомни, милый, как бывало
    Во дни раздоров и войны
    Ты пел, взбегая на ступени
    Прозрачных зданий над Невой."
И очи шире раскрывая,
Плечами вздрогнет, подойдет.
И сердце, в флейту превращаясь,
Унывно в комнате поет.
    А за окном свеча бледнеет
    И утро серое встает.
    В соседних комнатах чиханье,
    Перегородок колыханье
    И вот уже трамвай идет.

1926

Два пестрых одеяла,
Две стареньких подушки,
Стоят кровати рядом.
А на окне цветочки -
Лавр вышиной с мизинец
И серый кустик мирта.
На узких полках книги,
На одеялах люди -
Мужчина бледносиний
И девочка жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки,
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк.
И дом давно проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада,
Как кожа шелушится.
Напротив, из развалин,
Как кукиш между бревен
Глядит бордовый клевер
И головой кивает,
И кажет свой трилистник,
И ходят пионеры,
Наигрывая марш.
Мужчина бледносиний
И девочка жена
Внезапно пробудились
И встали у окна.
И, вновь благоухая
В державной пустоте,
Над ними ветви вьются
И листьями шуршат.

И вновь она Психеей
Склоняется над ним,
И вновь они с цветами
Гуляют вдоль реки.
Дома любовью стонут
В прекрасной тишине,
И окна все раскрыты
Над золотой водой.
Пактол ли то стремится?
Не Сарды ли стоят?
Иль брег александрийский?
Иль это римский сад?
Но голоса умолкли.
И дождик моросит.
Теперь они выходят
В туманный Ленинград.
Но иногда весною
Нисходит благодать:
И вновь для них не льдины,
А лебеди плывут,
И месяц освещает
Пактолом зимний путь.

1926

ЭЛЛИНИСТЫ

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листве шумящей, вдоль реки,
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,
На тонких щечках синева.
Блестящ и звонок дам наряд,
Фонтаны бьют, огни горят,
За парой парою скользим
И впереди наш танцевод
Ступает задом наперед.
        И волхвованье слов под выпуклой луной
        И образы людей исчезли предо мной,
И снова выплыл танцевод.
За ним толпа гуськом идет.
И не подруга - госпожа
За ручку каждого ведет
И каждый песенку поет:
        "Проходит ночь,
        Уходим прочь
        В свои дома,
        В подвалы.
        А с вышины,
        Из глубины
        Густых паров,
        Глядит любовь
        И движет солнцем
        И землей,
        Зеленокрасною луной,
        Зеленокрасною водою."

1926

Мрак побелел, бледнели лица
Полуоставшихся гостей.
Казалось, город просыпался
Еще ненужней и бойчей.
Пред вознесенской Клеопатрой
Он опьянение прервал,
Его товарищ на диване
Опустошенный засыпал.
И женщина огромной тенью,
Как идол, высилась меж них,
Чуть шевеля пахучей тканью
На красной пола желтизне.
А на столе сиял, как перстень,
Еще не допитый глоток.
Символ не-вечности искусства
Быть опьяненными всегда.

1926

От берегов на берег
Меня зовет она,
Как будто ветер блещет,
Как будто бьет волна.
И с птичьими ногами
И с голосом благим
Одета синим светом
Садится предо мной:
"Плывем мы в океане
Корабль потонет вдруг,
На острова блаженных
Прибудем, милый друг.
И музыку услышишь,
И выйдет из пещер
Прельщающий движенье
Сомнамбулой Орфей.
Сапфировые косы,
Фракийские глаза,
А на устах улыбка
Придворного певца."
В стране Гипербореев
Есть остров Петербург,
И музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.
И птица приумолкла.
- Чирик, чирик, чирик -
И на окне, над локтем
Герани куст возник.

1926

Не лазоревый дождь,
И не буря во врѐмя ночное.
И не бездна вверху,
И не бездна внизу.
И не кажутся флотом,
Качаемым бурной волною,
Эти толпы домо́в
С перепуганным отблеском лиц.
Лишь у стекол герань
Заменила прежние пальмы
И висят занавески
Вместо тяжелых портьер.
Да еще поднялись
И засели за книгу,
Чтобы стала поменьше
Поуютнее жизнь.
В этой жизни пустынной,
О, мой друг, темнокудрый,
Нас дома разделяют,
Но, как птицы, навстречу
Наши души летят.
И встречаются ночью
На склоне цветущем,
Утомленные очи подняв.

1926

Дрожал проспект, стреляя светом,
Извозчиков дымилась цепь,
И вверх змеями извивалась
Толпа безжизненных калек.
И каждый маму вспоминает,
Вспотевший лобик вытирает,
И в хоровод детей вступает
С подругой первой на лугу.
И бонны медленно шагают,
Как злые феи с тростью длинной,
А гувернеры в отдаленье
Ждут окончанья торжества.
И змеи бледные проспекта
Ползут по лестницам осклизлым
И видят клети, в клетях лица
Подруг торжественного дня.
И исковерканные очи
Глядят с глубоким состраданьем
На вверх ползущие тела.
И прежним именем ласкают,
И в хоровод детей вступают
С распущенной косою длинной,
С глазами точно крылья птиц.

1926

## ПЕСНЯ СЛОВ

1

*Старые слова поют:*
Мы все сюсюкаем и пляшем
И крылышками машем, машем,
И каждый фиговый дурак
За нами вслед пуститься рад.
*Молодые слова поют:*
Но мы печальны, боже мой,
Всей жизни гибель мы переживаем:
Увянет ли цветок - уже грустим,
Но вот другой - и мы позабываем
Все, все, что было связано с цветком:
Его огней минутное дыханье,
Строенье чудное его
И неизбежность увяданья.
*Старые слова поют:*
И уши длинные у нас.
Мы слышим, как растет трава,
И даже солнечный восход
В нас удивительно поет.
*Вместе старые и молодые:*
Пусть спит купец, пусть спит игрок,
Над нами тяготеет рок.
Вкруг Аполлона пляшем мы,
В высокий сон погружены,
И понимаем, что нас нет,
Что мы словесный только бред
Того, кто там в окне сидит
С молочницею говорит.

2

Я девой нежною была,
Шлейф смысла за собой вела.
Любовь - вскричали мотыльки
И пали ниц, как васильки.
И слово за строкой плывет,
Вдруг повернется и уйдет.
Затем появится опять,
Возьми его и будешь тать,
Что взять никак не мог всего,
И взял, что годно для него.

3

*Слово в театральном костюме:*

Мне хорошо в сырую ночь
Блуждать и гаснуть над водой
И думать о судьбе иной,
Когда одет пыльцею был,
Когда других произносил
Таких же точно мотыльков
В прах разодетых дурачков.
Дай ручку, слово, раз, два, три!
Хожу с тобою по земле.
За мною шествуют слова
И крылышки дрожат едва.
Как будто бы амуров рой
Идет во глубине ночной.

Куда идет? Кого ведет?
И для чего опять поет?
И тонкий дым и легкий страх
Я чувствую в своих глазах.
И вижу, вижу маскарад.
Слова на полочках стоят -
Одно одето, точно граф,
Другое - как лакей Евграф,
А третье - верный архаизм -
Скользит как будто бы трюкизм,
Танцует в такт и вниз глядит.

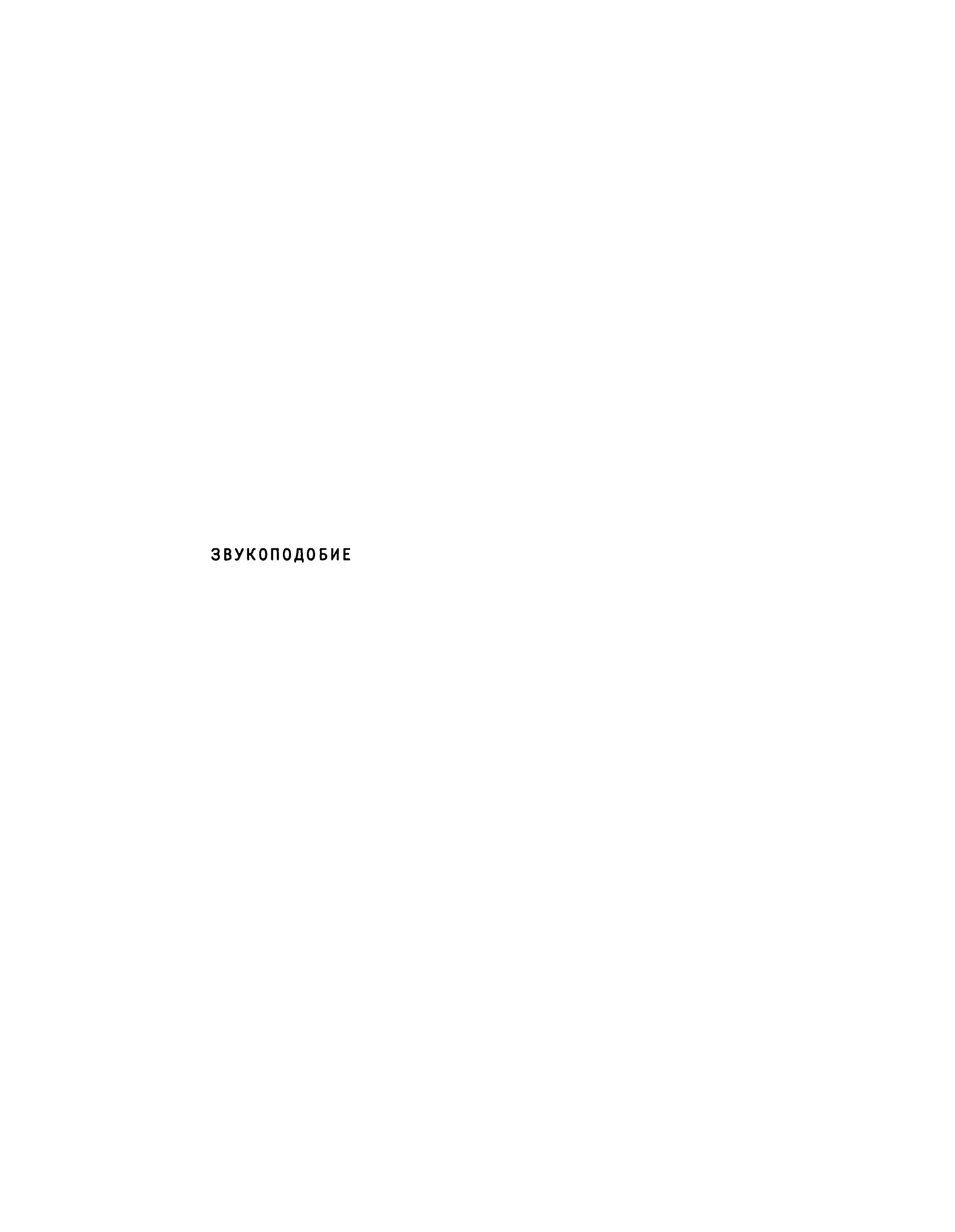
Там в городе бежит река,
Целуются два голубка,
Милиционер, зевнув, идет
И смотрит, как вода плывет.
Его подруга, как луна -
Ее изогнута спина,
Интеллигентен, тих и чист,
Смотрю, как дремлет букинист.
В подвале сыро и темно,
Семь полок, лестница, окно.
Но что мне делать в вышине,
Когда не холодно здесь мне?
Здесь запах книг,
Здесь стук жуков,
Как будто тиканье часов.
Здесь время снизу жрет слова,
А наверху идет борьба.

1927

Слова из пепла слепок,
Стою я у пруда,
Ко мне идет нагая
Вся молодость моя.
Фальшивенький веночек
Надвинула на лоб.
Невинненький дружочек
Передо мной встает.
Он боязлив и страшен,
Мертва его душа,
Невинными словами
Она извлечена.
Он молит, умоляет,
Чтоб душу я вернул.-
Я молод был, спокоен,
Души я не вернул.
Любил я слово к слову
Нежданно приставлять,
Гадать, что это значит,
И снова расставлять.
Я очень удивился:
- Но почему, мой друг,
Я просто так, играю,
К чему такой испуг?

Теперь опять явился
Перед моим окном:
Нашел я место в мире,
Живу я без души.
Пришел тебя проведать
Не изменился-ль ты?

1928



## ЗВУКОПОДОБИЕ

Черно бесконечное утро,
Как слезы стоят фонари.
Пурпурные, гулкие звуки
Слышны отдаленной зари.
И слово горит и темнеет
На площади перед окном,
И каркают птицы и реют
Над черным его забытьем.

Нет, не расстался я с тобою.
Ты попрежнему ликуешь
Сияньем ненаглядных глаз.
Но не прохладная фиалка,
Не розы, точно ветерок,
Ты восстаешь в долине жаркой,
И пламя лижет твой венок.

И все, что ты в себе хранила
И, как зеницу, берегла,
Как уголь черный и невзрачный
Ты будущему отдала.

Но в стороне,
Где дым клубится,
Но в тишине
Растут цветы,
Порхают легкие певицы,
Дрожат зеленые листы.

## НОЧНОЕ ПЬЯНСТВО

И точно яблоки румяны
И точно яблоки желты
Сидели гости на диване,
Блаженно раскрывая рты.
Собранье пеньем исходило:
      Сперва madame за ним ходила,
      Потом monsieur ее сменил...
Декольтированная дама,
Как непонятный сфинкс, стояла,
Она держала абажур,
На нем Психея и Амур.
Из тюля нежные цветочки
И просто бархатные точки.
Стол был ни беден, ни богат.
Картофельный белел салат.
И соловей из каждой рюмки
Стремглав за соловьем летел.
Раскланиваясь грациозно,
Старик пленительно запел:
      Зачем тревожишь ночью лунной
      Любовь и молодость мою?
      Ведь девушкою легкострунной
      Своей души не назову.
      Она веселая не знала,
      Что ей погибель суждена.
      И виноград друзьям срывала.
      Вакханкой томною плясала,
      И радостная восклицала:
      - Ах, я пьяна, совсем пьяна!
      И полюбила возноситься,
      Своею легкостью кичиться,
      Пчелой жужжащею летать,
      Безмолвной бабочкой порхать...
      И вдруг на лестнице стоять.

Теперь усталая не верит
В полеты прежние свои
И лунной ночью лицемерит
Там, где свистали соловьи.

Старик пригубил.
Смутно было.
Луна над облаком всходила.
И стало страшно, что не хватит
Вина средь ночи.

ГОЛОС

Столица глядела
Развалиной.
Гражданская война летела
Волной.
И НЭП сошел и развалился
В Гостином пестрою дугой.
Самодовольными шарами
Шли пары толстые.
И бриллиантами качали
В ушах.
И заедали анекдотом
И запивали опереттой
Борьбу.
В стекло прозрачное одеты,
Огни мерцали.
Растраты, взятки и вино
Неслись, играя в домино.
Волнующий и шелестящий
И бледногубый голос пел,
Что чести нет.
И появлялся в кабинете
В бобры мягчайшие одет:
И превращался в ресторане
Он в сногсшибательный обед.
И ночью, в музыкальном баре
Нарядной девою звучал
И изворотливость веселую,
Как победителя ласкал.

Психея дивная,
Где крылья голубые
И легкие глаза
И косы золотые.
Как страшен взгляд очей испепеленной,
В просторы чистые попрежнему влюбленной,
В ужасный лес вступила жизнь твоя.
Сожженная, ты вспыхивать обречена
И легким огоньком то здесь, то там блуждаешь
И путников средь ночи увлекаешь.

## НАРЦИСС

Он не был пьян, он не был болен -
Он просто встретил сам себя
У фабрики, где колокольня
В обсерваторию превращена.

В нем было тускло и спокойно
И не хотелось говорить.
Не останавливаясь, хладнокровно,
Пошел он по теченью плыть.

Они расстались, но встречались
Из года в год.Без лишних слов
Неловко головой качали.
Прошла и юность и любовь.

Золотые глаза,
Точно множество тусклых зеркал,
Подымает прекрасная птица.
Сквозь туманы и свисты дождя
Голубые несутся просторы.

Появились под темным дождем
Два крыла быстролетной певицы,
И томимый голос зажег
Бесконечно утлые лица.

И запели пленительно вдруг
В обветшалых телах, точно в клетках,
Соловьи об убитой любви
И о встречах, губительно редких.

Всю ночь дома дышали светом,
Весь город пел в сияньи огневом,
Снег падал с крыш, теплом домов согретый;
Невзрачный человек нырнул в широкий дом.

Он, как и все, был утомлен разлукой
С своей душой,
Он, как и все, боролся с зябкой скукой
И пустотой.

Пленительны предутренние звуки,
Но юности второй он тщетно ждет.
И вместо дивных мук - разуверенья муки
Вокруг него, как дикий сад, растут.

На набережной рассвет
Сиреневый и неясный.
Плешивые дети сидят
На великолепной вершине.
Быть может то облеск окон
Им плечи и грудь освещает,
Но бледен, как лист, небосклон
И музыка не играет.

Русалка пела, дичь ждала,
Сидели гости у костра,
На нежной палевой волне
Чорт ехал, точно на коне.

Мне милый друг сказал тогда:
- Сидеть приятно у костра.
Как хорошо среди людей
Лишь видеть нежных лебедей.

Зачем ты музыку прервал? -
Мучительно он продолжал.
- Из круга вышел ты, мой друг,
Теперь чертям ты первый друг.

Вкруг сосен майские жуки
Ведут воздушный хоровод.
На холмах дачные огни
Вновь зажигает мотылек.

- Вернитесь, нимфы! - он вскричал, -
Высокая мечта, вернись!
Зачем ты отнял жизнь мою
И погрузил меня во тьму?

Вскочили гости: - Что опять?
Как непристойно приставать.
Чего вам надо, жизнь проста.
Да помиритесь, господа.

Он с юностью своей, как должно, распрощался
И двойника, как смерти, испугался.
Он в круг вступил и, мглою окружен,
Услышал пред собой девятиструнный стон.

Ее лица не видел он,
Но чудилось - оно прекрасно,
И хор цветов и голоса дверей
Вливались в круг, объятый ночью властной.

И появилось нежное лицо,
Как бы обвеянное светом.
Он чувствовал себя и камнем и свинцом,
Он ждал томительно рассвета.

Пред Революцией громадной,
Как звезды, страны восстают.
Вбегает негр.

Высокомерными глазами
Его душа окружена,
Гарлема дикими ночами
Она попрежнему пьяна.

Его мечта: разгладить волос
И кожи цвет чтоб был белей,
Чтоб ласковый ликерный голос
Пел о любви.

Неясным призраком свободы
Он весь заполонен.
Вино и карты и блужданье
Свободою считает он.

Идет огромный по проспекту,
Где головы стоят,
Где комсомольцы, комсомолки
Идут, как струнный лад.

И государственностью новой
Где человек горит,
Надеждою неколебимой,
Что мир в ответ звучит.

Когда уснули все опять,
Мой друг чертей мне показал.
- Тебя люблю, - я отвечал, -
Хотел тебя я вознести,
В высокий храм перенести,
Но на пути ты изнемог,
От смеха адского продрог.
Я бился, бился и взлетал,
С тобою вместе в ров упал.
Но будет, будет вновь полет.

В ночных рубашках мотыльки
Гасили в окнах огоньки.

Кентаврами восходят поколенья
И музыка гремит.
За лесом там, летающее пенье,
Неясный мир лежит.

Кентавр, кентавр, зачем ты оглянулся,
Копыта приподняв?
Зачем ты флейту взял и заиграл разлуку,
Волнуясь и кружась?

Веселья нету в жаркой бездне,
Кентавр, спеши.
Забудь, что был ты украшеньем,
Или не можешь ты?

Иль создан ты стоять на камне
И созерцать
Себя и мир и звезд движенье
И размышлять.

Он разлюбил себя, он вышел в непогоду.
Какое множество гуляет под дождем народу.
Как песик вертится и жалко и пестро!
В витрине возлежит огромное перо.

Он спину повернул, пошел через дорогу,
Он к скверу подошел с решеткою убогой,
Где зелень нежная без света фонарей
Казалась черною, как высота над ней.

Но музыка нежданная раздалась
И флейта мирная под лампой показалась,
Затем рояля угол и рука
Игравшего, как дева, старика.

Гулявший медленно от зелени отходит
И взором улицу бегущую обводит.
Он погружается все глубже в непогоду,
Любовь он потерял, он потерял свободу.

Прекрасен мир не в прозе полудикой,
Где вместо музыки раздался голос дикий,
От юности предшествует двойник,
Что выше нас и, как звезда, велик.

Но есть двойник другой, его враждебна сила,
Не впереди его душа носилась.
Плетется он за нами по пятам,
Средь бела дня подводит к зеркалам
И речь ведет за нас с усмешкою веселой
И, за руку беря, ведет дорогой голой.

В повышенном горе
На крышах природы
Ведут музыканты
Свои хороводы.
Внизу обезьяны,
Ритма не слыша,
Пляшут и вьются
Томно и скушно.
И те же реченья
И те же сомненья,
Как будто, как будто!
По градам и весям
Они завывают
И нежно и сладко
Себя уважают.

Какою прихотью глупейшей
Казалась музыка ему.
Сидел он праздный и нахальный,
Следил, как пиво пьют в углу.
Стал непонятен голос моря,
Вся жизнь казалась ни к чему.
Он вспоминал - все было ясно,
И длинный, длинный коридор,
Там в глубине сад сладкогласный,
У ног подруг Психеи ясной
Стоит людей тревожный хор.
Как отдаленное виденье,
Буфетчик, потом обливаясь,
Бокалы пеной наполнял,
Украдкой дымом наслаждаясь,
Передник перед ним сновал.

февраль 1930

Хотел он, превращаясь в волны,
Сиреною блестеть,
На берег пенистый взбегая,
Разбиться и лететь,
Чтобы опять приподнимаясь,
С другой волной соединяясь,
Перегонять и петь,
В высокий сад глядеть.

март 1930

Уж день краснеет, точно нос,
Встает над точкою вопрос:
Зачем скитался ты и пел
И вызвать тень свою хотел?

На берега,
На облака
Ложится тень.
Уходит день.

Как холодна вода твоя
Летейская!
Забыть и навсегда забыть
Людей и птиц,
С подругой нежной не ходить
И чай не пить,
С друзьями спор не заводить
В сентябрьской мгле
О будущем, что ждет всех нас
Здесь на земле.

март 1930

Он с каждым годом уменьшался
И высыхал
И горестно следил, как образ
За словом оживал.

С пером сидел он на постели
Под полкою сырой,
Петрарка, Фауст, иммортели
И мемуаров рой.

Там нимфы нежно ворковали
И шел городовой,
Возлюбленные голодали
И хор спускался с гор.

Орфея погребали
И раздавался плач,
В цилиндре и перчатках
Серьезный шел палач.

Они ходили в гости
Сквозь переплеты книг,
Устраивали вместе
На острове пикник.

май 1930

"Как жаль", - подумалось ему, -
"Осенний ветер...ночь голубая...
Я разлюбил свою весну.
Перед судилищем поэтов
Под снежной вьюгой я стоял,
И каждый был разнообразен,
И я был как живой металл.
Способен был соединиться
И золото, вобрав меня,
Готово было распуститься
Цветком прекрасным.
Пришла бы нежная пора
И с ней бы солнце появилось,
И из цветка бы, как роса,
Мое дыханье удалилось! "

март 1931

1

За годом год, как листья под ногою,
Становится желтее и печальней.
Прекрасной зелени никак не сохранить
И звона дивного любви первоначальной.

И робость милая и голоса друзей,
Как звуки флейт, уже воспоминанье.
Вчерашний день терзает как музей,
Где слепки, копии и подражанья.

2

Идешь по лестнице, но листья за тобой
Сухой свой танец совершают
И ласковой, но черною порой,
Как на театре хор, перебегают.

апрель 1931

## БАЛЛАДА

Звукоподобие проснулось,
Лицом к поэту повернулось
И медленно, как автомат,
Сказало:

Сегодня вставил ты глаза мне
И сердце в грудь мою вогнал.
Уже я чувствую желанье,
Я, изваянье, перехожу в разряд людей.

И стану я, как вы, загадкой,
И буду изменяться я,
Хоть волосы мои не побелеют,
Иначе будут петь глаза.

Быть может стану я похоже
На жемчуг, потерявший цвет,
И полюбить меня не сможет
Эпохи нашей человек.

Я ухожу, меня проклянешь
И постараешься отнять
Глаза Психеи, сердце вынуть
И будешь в мастерскую звать.

Теперь враги мы.Безнадежно
- Остановись! - воскликнешь ты.
Звукоподобие другое
Ты выставишь из темноты.

Оно последует за мною
Быть может враг, быть может друг,
Мы будем биться иль ликуя
Покажем мы пожатье рук.

1932

Почувствовал он боль, в поток людей глядя,
Заметил женщину с лицом карикатурным,
Как прошлое уже в ней узнавал
Неясность чувств и плеч скульптурность.

И острый взгляд и кожи блеск сухой.
Он постоял, но не окликнул.
Он чувствовал опять акаций цвет густой
И блеск дождя и воробьев чириканье.

И оживленье чувств, как крепкое вино,
В нем вызвало почти головокруженье,
Вновь целовал он горький нежный рот
И сердце, полное волненья.

Но для другого, может быть еще,
Она цветет, она еще сияет,
И, может быть, тот золотым плечом
Тень от плеча в истоме называет.

1933

ЮЖНАЯ НОЧЬ

Как ночь бессонную зима напоминает.
И лица желтые, несвежие глаза.
И солнца луч природу обольщает,
Как незаслуженный и лучезарный взгляд.

Среди пытающихся распуститься,
Средь почек обреченных он блуждал,
Сочувствие к обманутым растеньям
Надулось в нем, как парус, возросло.

А дикая зима все продолжалась, -
То падал снег, то дождь, как из ведра,
То солнце принуждало распускаться,
А под окном - шакалы до утра

Здесь пели женщиной, там плакали ребенком,
Вдруг выли почерневшею вдовой.
И псы бездомные со всех сторон бежали
И возносили лай сторожевой.

Как ночь бессонную зима напоминает -
Камелии стоят, фонарь слезу роняет.

1933

Подделки юную любовь напоминают,
Глубокомысленно на полочках стоят.
Так нежные сердца кому-то подражают,
Заемным опытом пытаются сиять.

Но первая любовь, она благоухает,
Она, безумная, не хочет подражать,
И копии и слепки разбивает
И пеньем наполняет берега.

Но копии, но слепки, точно формы
Ее зовут, ее влекут.
Знакомое предстанет изваянье,
Когда в музей прохожие войдут.

1933

Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, маслины
И веллингтонию, как деву, колебал,
Ступеньки лестниц, словно пелерины,
К плечам пришиты были скал.

По берегу подземному блуждая,
Я встретил соловья, он подражал,
И статую из солнечного края
Он голосом своим напоминал.

Я вышел на балкон подземного жилища,
Шел редкий снег, и плавала луна,
И ветер бил студеным кнутовищем,
Цветы и травы истязал.

Я понял, что попал в Элизиум кристальный,
Где нет печали, нет любви,
Где отраженьем ледяным и дальним
Качаются беззвучно соловьи.

1933. Крым

Вступил в Крыму в зеркальную прохладу,
Под градом желудей оркестр любовь играл.
И точно призраки со всех концов Союза
Стояли зрители и слушали Кармен.

Как хороша любовь в минуту увяданья,
Невыносим знакомый голос твой,
Ты вечная, как изваянье,
А слушатель томительно другой.

Он, как слепой, обходит сад зеленый
И трогает ужасно лепестки,
И в соловьиный мир, поющий и влюбленный,
Хотел бы он, как блудный сын, войти.

декабрь 1933. Ялта

## ЛЕНИНГРАД

Промозглый Питер легким и простым
Ему в ту пору показался.
Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался.

И липкость воздуха, и черные утра,
И фонари, стоящие, как слезы,
И липкотеплые ветра
Ему казались лепестками розы.

И он стоял, и в северный цветок,
Как соловей, все более влюблялся,
И воздух за глотком глоток
Он пил и улыбался.

И думал: молодость пройдет,
Душа предстанет безобразной
И почернеет, как цветок,
Мир обведет потухшим глазом.

Холодный и язвительный стакан,
Быть может, выпить нам придется,
Но все же роза с стебелька
Нет-нет и улыбнется.

Увы, никак не истребить
Виденье юности беспечной.
И продолжает он любить
Цветок прекрасный бесконечно.

январь 1934

В аду прекрасные селенья
И души не мертвы.
Но бестолковому движенью
Они обречены.

Они хотят обнять друг друга,
Поговорить.
Но вместо ласк посмотрят тупо
И ну грубить.

февраль 1934

## ПРИМЕЧАНИЯ

Здесь публикуется первое собрание стихотворений К. Вагинова. После его смерти в 1934 году в Советском Союзе не вышел ни один сборник его поэзии. В США были переизданы два стереотипных сборника в издательстве "Ardis" (К. Вагинов, "Путешествие в хаос", Петербург 1921, Facsimile reedition, Ann Arbor 1972 и К. Вагинов, Стихи, посвящ. А. Федоровой, Ленинград 1926, Reprint, Ann Arbor 1978). В альманахе "Аполлон -77"(Париж 1977) было перепечатано большинство стихотворений цикла "Звукоподобие". Несколько отдельных стихотворений было помещено в разных сборниках.

В собрании текстов и материалов о его творчестве в 60-х - начале 70-х годов принимала большое участие Т. Никольская, которой и выражается глубокая признательность. Составитель благодарит также всех, кто оказал ему в свое время помощь.

Считаем нужным особо оговорить вопрос правописания, - ибо особенно в ранних стихотворениях Вагинова мы старались найти баланс между своеобразной пунктуацией его и нормами современного русского правописания (иногда знак препинания может разбить целостность образа). Исправленные ошибки в первоизданиях и малозначительные варианты нами специально не оговариваются.

### П у т е ш е с т в и е в х а о с (сс.

Перепечатывается с отдельного издания, вышедшего в издательстве "Кольцо поэтов", Петербург, 1921. Здесь нами добавлены несколько впервые публикуемых стихотворений, относящихся к этому циклу, но не вошедших в издание повидимому из цензурных соображений. *Мы здесь вдали* (с. 37) печатается с уцелевшего корректурного оттиска. *На палубах "Летучего голландца"* (с. 38), *Умолкнет ли* (посвященное В. Смиренскому, с. 39), *Петербуржцы* (с. 40), *За осоку* (с. 41) печатаются с рукописных автографов, относящихся к сборнику. Учитывается и рукопись части сборника.
*Бегут туманы* (с. 21) - в рукописи в последней строке первой строфы: "потухшие угли".
*Вихрь, бей* (с. 24) - в рукописи первая строка: "рука, ударяй по лире".

### П е т е р б у р г с к и е н о ч и (сс. 42-75)

Печатается с рукописи неизданного сборника и отдельных автографов. Здесь отсутствуют тексты 18 стихотворений, копии которых нам получить не удалось. Ниже мы указываем и отдельные публикации. Стихи, публикации которых в периодической печати не отмечены, печатаются впервые.
*Перевернул глаза* (с.43) - рукописный вариант последней строки: "открыв тоскливый и квадратный рот".
*У милых ног* (с.44), *Упала ночь* (посв. В. Лурье, с. 49), *Покрыл, прикрыл* (с. 50), *Один бреду* (с. 53), *Палец мой сияет* (с. 59) - альманах "Звучащая раковина", Петроград 1922.
*С Антиохией* (с. 45) - машинописный сборник "Островитяне", вып. 1, Петроград, сентябрь 1921 г.
*Спит в ресницах* (с. 48), *В нагорных горнах* (с. 54), *И умер он* (с. 56), *Чернеет ночь* (с. 60), *Петербургский звездочет* (с. 64) - изданный типографски сборник "Островитяне" 1, Петроград, декабрь 1921.
*Опять у окон* (с. 51), *Камин горит* (с. 52) - сборник "Ушкуйники", Петроград, 1922.
*В пернатых облаках* (с. 63) и *Помню последнюю ночь* (*Юноша*, с. 68) впоследствии включались в сборники 1926 и 1931 гг., но печатаются

здесь ввиду большего стилистического и смыслового соответствия. Первое публиковалось и в сборнике "Город", Петроград, 1923.
*Сынам Невы* (с. 69) - печатается с рукописи. В "Петербургских ночах" был более пригодный для цензуры вариант начала:

И флаг крылатым идолом взойдет
Для Индии уснувшей, для Китая,
Для черных стран, не верящих в восход.

*Нет, не люблю закат* (с. 70): "В казарме умирает человек" - имеется в виду друг детства Сергей Крейтон, сын архитектора-англичанина.
*Любовь опять томит* (с. 55), *Двенадцать долгих дней* (с. 57) - журнал "Записки передвижного театра П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской", Петроград 1923, № 57.
*Живу отшельником* (с. 71) - там же, 1923, № 50.
*Усталость в теле* (с. 72) - сборник "Абраксас", Петроград, октябрь 1922.
*Мой бог гнилой* (с. 73) - сборник "Город", Петроград 1923. Впоследствии вошло как стихотворение Тептелкина в "Козлиную песнь".
Стихотворения *Один бреду* (с. 53), *Чернеет ночь* (с. 60), *Помню последнюю ночь* (с. 68) были перепечатаны в "Антологии петербургской поэзии", ed. by George Ivask and H.W. Tjalsma. München: W. Fink 1973, сс. 164-165).

С т и х о т в о р е н и я 1920 - 30-х гг. (сс. 76-106)

Здесь собраны отдельные стихотворения, печатающиеся впервые с рукописей и с разрозненных публикаций, не вошедших ни в один из авторских циклов. Расположение приблизительно хронологическое, но указаны лишь точно зафиксированные даты.
*Под рожью* (с. 77), *Плывут в тарелке* (с. 78) - "Островитяне" (машинописный сборник) 1, Петроград, сентябрь 1921.
*О, заверни в конфетную* (с. 79) - "Островитяне", 1, Петроград, декабрь 1921.
*Сидит она* (с. 80) - "Ушкуйники", Петроград 1922.
*Бегу в ночи* (с. 81) - "Абраксас", октябрь 1922.
*Искусство* (с. 82) - "Абраксас", ноябрь 1922.
*Я снял сапог* (с. 83) - альманах "Цех поэтов", № 3, Петроград, 1922.
*Я променял* (с. 84) - "Альманах Петербургского объединения обновленного искусства", № 1, Петроград 1922.
*Немного меда* (с. 85) - с рукописи. Вариант 5-6 строк:

Но вот они среди долин Урала,
Вот они лежат в цепях и слышат треск домов.

*Ночь отгорела* (с. 87) - сборник "Город", Петроград 1923.
*Вы римскою державной* (с. 88) - из альбома А.Д. Радловой. Архив Пушкинского Дома.
Запись в альбоме Б. Смиренского приведена в его неизданных мемуарах "Странствующий энтузиаст". Обе напоминают стихотворные подписи М. Волошина к его акварелям. Ср. также трехстишие А. Ахматовой "Простишь ли мне эти ноябрьские дни" (1913).
*Мы рождены* (с. 91): в одной из рукописей вариант конца третьей строки - "снежной" вместо "прежней".
*Не пестрою, но радостной* (с. 92) - "Записки передвижного театра", 1923, № 57.
*До белых барханов* (с. 93) - альманах "Литературные вечера". Петроград 1923. вып. 1.
*Он думал* (с. 97) - с черновика ЦГАЛИ приблизительно 1925 г. Выбран один из вариантов.

*Я стал просвещивающей формой* (с. 98) - сборник "Костер" , Ленинград 1927.
Стихотворения к роману "Козлиная песнь" (сс.99-103) - первое взято из печатного издания (Ленинград 1928, с.48), остальные из рукописи готовившегося автором второго издания.

Т ы с я т ч а д е в я т ь с о т п я т ы й   г о д   (сс. 107-118)

Печатается с рукописи. Первые 11 строк в виде отдельного стихотворения в "Опытах" объединены с другим (*Мрак побелел*, с. 167), которое публиковалось в альманахе "Звезда" (1930).

О п ы т ы   с о е д и н е н и я   с л о в   п о с р е д с т в о м   р и т м а (сс. 119-175)

Печатается с текста одноименного сборника (Ленинград 1931) за исключением двух стихотворений, включенных в соответствии с авторским планом в "Петербургские ночи". Включены также стихотворения *Любовь страшна* (с. 122), *И пестрой жизнь моя была* (с. 129), *Под лихолетьем одичалым* (с. 140) из сборника 1926 года и 2-я часть *Песни слов* (сс. 171-174) из журнального варианта ("Звезда", Ленинград 1927, № 8). Ниже отмечаются отдельные публикации и рукописные варианты.
*Поэма квадратов* (с. 120) - "Абраксас", февраль 1923 г. В сборнике 1926 года последняя строка 3-ей части читается: "Великой Греции роскошные утра."
*Любовь страшна* (с. 122) - сборник "Город", Петроград 1923.
*Среди ночных* (с. 123) - "Абраксас", октябрь 1922 г. без ремарок: "Человек", "Хор".
*Шумит Родос* (с. 124) - "Абраксас", ноябрь 1922 г. В "Опытах": без последней строфы.
*Я полюбил* (с. 125) - "Жизнь искусства", Петроград 1922, № 22.
*И пестрой* (с. 129) - "Записки передвижного театра", 1923, № 57.
*Не человек* (с. 130) - "Жизнь искусства", 1923, № 19. Дата дана по сборнику 1926 г. В "Опытах": ноябрь 1923 г.
*Один средь мглы* (с. 132) - в рукописи в последней строке: "гения и сна".
*Под гром войны* (с. 133) - в "Опытах": без последней строфы.
*О, сделай* (с. 138) - печатается с рукописи. Вариант в первой строке: "гремящей".
*Из женовидных слов* (с. 139) - "Поэты наших дней", Москва 1925.
*Отшельники* (сс. 143-145) - первая строка - вариация известного начала 1-й сцены 5 акта "Сна в летнюю ночь" Шекспира, обычно переводившегося как "лунатики, влюбленные, поэты" и создавшего известную традицию в русской поэзии - ср. "изгнанники, скитальцы и поэты" (М. Волошин), "раклы, безумцы и галахи" (Хлебников). Печатается с рукописного варианта с авторскими примечаниями. В письме, откуда он взят, имеется следующий пост-скриптум: "Вот и все повествование о трех ипостасях, о состарившейся Венере и о превратившемся в сатира, но сохранившем крылышки Эроте. И не такая же ли пустыня вокруг нас и не тот же ли столб возвышается в ней." Впервые под заглавием *Поэма* в альманахе "Ковш", кн. 1, Ленинград 1925.
*Не тщись* (с. 148) - журнал "Ленинград", 1924, № 23.
*О, сколько лет* (с. 149) - перепечатано в сборнике "Ленинградские поэты", Ленинград, ГИХЛ, 1934.
*Ворон* (с. 152), *И снова мне* (с. 154) - "Ковш", кн. 4, Москва-Ленинград 1926.

*И снова мне* (с. 154), *Над миром* (с. 155), *В книговращалищах* (с. 162) - альманах "Собрание стихотворений", Ленинград 1926.
*Тебе примерещился* (с. 159), *Мрак побелел* (с. 166) - альманах "Звезда", Ленинград, изд-во "Прибой", 1930.
*Ночь* (с. 161) - сборник "31 рука", Ленинград-Москва 1927, с.3. Здесь впервые печатается расширенный вариант со вставкой по рукописи (строки 21-28).
*За ночью ночь* (с. 163) - журнал "Звезда", 1928, № 7. Вариант с разночтениями - в книге: Л. Борисов, "Родители, наставники, поэты". Москва 1967, с. 87, 2-е издание 1972, с. 68.
*Два пестрых одеяла* (с. 164) - по указанию А.И. Вагиновой посвящено М.М. Бахтину.
*Эллинисты* (с. 166), *От берегов на берег* (с. 168), *Не лазоревый дождь* (с. 169) - альманах "Ларь", Ленинград 1927.
*Эллинисты* (с. 166), *Дрожал проспект* (с. 170) - альманах "Костер", Ленинград 1927.
*Не лазоревый дождь* (с. 169) - журнал "Звезда". 1927, № 3 с разночтениями.
Стихотворения *Шумит Родос* (с. 124), *Под гром войны* (с. 133), *И снова мне мерещится* (с. 154), *Музыка* (*В книговращалищах*, с. 162) *Эллинисты* (*Мы, эллинисты*, с. 166) были перепечатаны в "Антологии петербургской поэзии", München 1973, сс. 165-168.

З в у к о п о д о б и е (сс. 176-208)

Цикл включает стихи 1929-34 гг. В альманахе "Аполлон-77"(Париж 1977) была помещена публикация большинства стихотворений этого цикла (26 из 31) Д. Мальмстеда и Г. Шмакова, к сожалению с многочисленными ошибками и опечатками. Здесь печатается с рукописи, с учетом нескольких публикаций.
*Прекрасен мир* (с. 193), *Обыватели* (*В повышенном горе*, с. 194), *Он разлюбил себя* (с. 192) - альманах "Звезда", Ленинград, изд-во "Прибой", 1930.
*За годом год* (с. 200), *Отрывок* (*Как жаль*, с. 199), *Баллада* (*Звукоподобие*, с. 201) - журнал "Звезда", 1933, № 1.
*Подделки* (с. 204), *Вступил в Крыму* (с. 206), *Промозглый Питер* (с. 207) - "Литературный современник", 1934, № 11 под заголовком "Посмертные стихи".
*Ленинград* (*Промозглый Питер*, с. 207), *Норд-ост* (с. 205) - "День поэзии", Ленинград 1967 (публикация Л. Черткова и Т. Никольской).
*В аду* (с. 208) - другая датировка: декабрь 1933.

# ПОЭЗИЯ КОНСТАНТИНА ВАГИНОВА

Константин Константинович Вагенгейм родился в 1899 в Петербурге - точная дата неясна - по одним сведениям - 4 апреля, по другим - 21 сентября (старого стиля). Во время войны - в 1915 году - его отец (тогда военный) изменил свою немецкую фамилию на Вагинов. Семья отца издавна жила в Петербурге. Известно, что один из Вагенгеймов - врач - лечил Пушкина и В. Одоевского. Мать поэта происходила из сибирской семьи. Учился он с 1908 года в гимназии Гуревича, которую окончил в мае 1917 года. В детстве - в 1913 году - Вагинов путешествовал по Каспийскому и Черному морям, по Кавказу. В августе 1917 года он поступил на юридический факультет Петроградского университета и числился там до осени 1921 года, причем посещал и лекции историко-филологического факультета. Однако фактически он учился там мало, так как в 1918 году был призван в Красную Армию, откуда демобилизовался лишь в апреле 1922 года. Служил он на польском фронте, за Уралом, а также в Петрограде (в последнее время - военным писарем). В 1923 году он поступил в Институт Истории Искусств (основанный и еще руководимый графом В.П. Зубовым), собравший в эти годы наиболее блестящую профессуру, и учился там до 1926 года. Здесь он преимущественно занимался на словесном отделении (где между прочим изучал латынь), а также на высших курсах искусствоведения.[1] Вся дальнейшая жизнь Вагинова протекала в Петрограде, откуда он выезжал лишь несколько раз для лечения (в Медвежьегорск, на Украину, в Сухуми и Ялту). 25 апреля 1934 года Вагинов умер и был похоронен на Смоленском кладбище близ т.н. Блоковской дорожки.

Как он сам написал в одной из неопубликованных биографий - "в гимназические годы увлекался Шекспиром, потом Гиббоном и Бодлером, под влиянием которого стал писать" в 1916 году. К этим именам следует присоединить также Овидия, Эдгара По, Уолтера Патера, а также де Квинси, чья книга в русском переводе имелась в отцов-

[1] Сведения из архива Ленинградской области, Ленинградского архива литературы и искусства, Пушкинского Дома, Музея Изобразительных Искусств в Москве (материалы к неизданному второму тому "Писателей современной эпохи") и др.

ской библиотеке.[2] С детства Вагинов увлекался нумизматикой, археологией, что было связано с его интересом к античности.

Ранние стихи Вагинова, записанные, по словам знавших его, в парчовой тетради, не сохранились. Таким образом творчество его известно лишь начиная со стихов 1919 года в сборнике "Путешествие в хаос" (Петербург 1921). Однако первой его публикацией были стихи в машинописном сборнике "Островитяне" (Петроград, сентябрь 1921), вышедшем чуть раньше в том же году. И уже в этих первых опубликованных стихах Вагинов, невзирая на известную аморфность и анемичность формы (отчасти несомненно намеренную), достаточно полно выявил свое поэтическое своеобразие и индивидуальное видение мира. Первой литературной группой, к которой он принадлежал и которая издала этот сборник, было близкое по характеру к эгофутуристам "Аббатство гаэров" ("Кольцо поэтов"), куда кроме него входили "приоры" Б. Смиренский, В. Смиренский (Андрей Скорбный), С. Нельдихен[3], драматург К. Маньковский и художник Н. Жандаров (автор обложки к "Путешествию в хаос"). Группа не имела ни программы, ни устава и просуществовала недолго. Сам Вагинов считал свой первый сборник неудачным (существуют исправленные им экземпляры, нам оказавшиеся недоступными) и впоследствии скупал его. Гораздо более важным, чем участие в этом богемном объединении, представляются параллельные занятия Вагинова в "Доме искусств" в студии Н.С. Гумилева, ставившего, как известно, во главу угла т.н. "науку о поэзии", но вместе с тем свободного в своих оценках, да и в стихах, от слепого следования своим теориям. Участники студии образовали кружок "Звучащая раковина", продолжавший собираться еще некоторое время после гибели своего мэтра, все участники которого (кроме Вагинова) однако так и не вышли за рамки "цеховой" академической поэтики. Летом 1921 года Вагинов был даже принят в ранге "подмастерья" во второй "Цех поэтов" и одновремен-

---

[2] "Исповедь англичанина, употреблявшего опиум". С-Петербург 1834. В этом издании приписана Ч. Матюрену, автору "Мельмота - скитальца". Э. Гиббон - автор "Истории упадка и разрушения Римской империи".

[3] См. о нем нашу с Т. Никольской публикацию в NRL (Almanach "Neue Russische Literatur") Salzburg 1978, с. 99-100: "Стихи Сергея Нельдихена".

но в Петроградский Союз поэтов, также руководившийся Гумилевым, - можно предполагать - по инициативе его и другого "мастера" О. Мандельштама, со вниманием относившегося к творчеству Вагинова. Ибо с "младшими" (Г. Адамович, Г. Иванов, Н. Оцуп) отношения у Вагинова не сложились. Уже в 1922 году он посвящает им несколько язвительных строк своей прозы в альманахе "Абраксас", а те в свою очередь исключают его стихотворение из переизданного в 1923 году в Берлине альманаха "Цех поэтов". Не касаясь тех или иных личных или общественных аспектов этих отношений, укажем, что и форма и существо поэзии Вагинова не могли не остаться чуждыми неоклассикам нового "Цеха". Интересно однако сопоставить здесь несколько высказываний о Вагинове наиболее объективного представителя этой группы - Г. Адамовича.

В петроградской газете "Жизнь искусства" от 16 января 1923 года Адамович писал: "К. Вагинов - прямая противоположность ему [Тихонову]. В старину про него сказали бы - Божьей милостью. Он весь пронизан музыкой. Если Вагинов глубже и шире вздохнет, если он будет больше думать и настойчивее хотеть, если он перестанет кокетничать своей неврастенией - он будет поэтом. Ему надо долго учиться. Но в руках его не труба и не барабан, а настоящая скрипка." В том же году (1923) в парижском журнале "Звено" в № 32 от 10 сентября он сопоставил поэзию Вагинова с живописью художника-символиста М. Чурлиониса и сослался на известных ему людей, полагающих, что в стихах Вагинова заложена новая поэтика. Здесь же он вспоминает, что "Гумилев относился к нему дружелюбно-насмешливо, но выделял." В "Звене" же от 24 января 1926 года в № 156 он указывает на близость Вагинова к поэзии сюрреализма (в частности Поля Элюара), вспоминает в связи с Вагиновым стихотворение Лермонтова "По небу полуночи". В "Звене" от 1 августа 1927 № 2 отмечает: "Резко своеобразен Вагинов, беспутный, бестолковый, сомнамбулический поэт, которому едва ли суждено оставить какой-либо след в русском искусстве, кроме бархатных виолончельных звуков, кроме удивительной певучести, этого "дара неба". И наконец в некрологе "Памяти Вагинова"[4], воспоминая о занятиях в студии Дома искусств: "Стихи читали подряд - как сидели. Гумилев благодушно одобрял, вежливо и высокомерно порицал, если

[4] Газета "Последние новости", Париж, 14 июня 1934 г. № 4830.

замечал какое-либо отступление от внушаемых им принципов. Стихи Вагинова вызывали в нем сдержанное, бессильное раздражение. Они поистине были "ни на что не похожи": никакой логики, никакого смысла; образы самые нелепые, синтаксис самый фантастический... Иногда хотелось рассмеяться, махнуть рукой. Но за чепухой вагиновского текста жила и звенела какая-то мелодия, о которой можно было повторить, что "ей без волненья внимать невозможно". Гумилев это чувствовал. Он понимал, что у других его учеников, только что продекламировавших стихи гладкие и безупречные, нет именно того, что есть у Вагинова. Его сердило, что он не может убедить Вагинова писать иначе... А тот улыбался, соглашался, смущался, - и на следующий день приносил новое стихотворение еще "безумнее" прежних, но еще музыкальнее."

Присоединим сюда и осторожную оценку Н. Оцупа из его статьи "О поэзии и поэтах в СССР"[5]: "Из поэтов, вскормленных революцией, мы ... знали Вагинова, тогда еще мальчика декадента с остротой и своеобразием, если и не развившимися с тех пор, то все же, судя по нескольким недавним стихотворениям - и не утраченными". Нам передавали и устный отзыв Гумилева о "Путешествии в хаос", смысл которого сводился к тому, что "несмотря на жеманство и надуманность это начало большого поэта". Большего трудно было конечно ожидать от представителей акмеизма, с которым поэзия Вагинова сближалась лишь изредка. Ни один из гумилевских принципов поэзии (кроме разве фонетического) не выдержан у него до конца. Хорошо вначале относился к нему Мандельштам, но чем лучше писал Вагинов, тем более он к нему охладевал. Отчужденно относилась к нему и Ахматова. И сам Вагинов и другие считали его в этот период символистом ("Я сmиволистом свесился во мглу", с. 149). Однако ни о каких литературных контактах с представителями этой школы нам неизвестно. В некоторых его письмах чувствуется пиэтет перед Андреем Белым, "Петербург" которого без сомнения оказал влияние на его роман "Козлиная песнь" (1928). Есть свидетельство, что из русской прозы Вагинов хорошо знал лишь символистскую. По словам Д.Е. Максимова интересовался он и Вячеславом Ивановым.

---

5 Журнал "Числа" 7-8, Париж 1933

Как бы то ни было, среди поэтических группировок, в которых он принимал участие в свои ранние годы, следует выделить группу "Островитяне". Образовалась она в 1921 году и просуществовала до 1923 года, хотя дружеские связи между членами ее сохранялись и позднее. Сюда входили кроме Вагинова Николай Тихонов, Сергей Колбасьев (более проявившийся как прозаик) и Петр Волков - все поэты, хотя и с различной, но несомненной индивидуальностью. Параллельно Вагинов участвовал в альманахах "Абраксас"(1922/23), "Город"(1923), "Ушкуйники"(1922) и др. Но уже в 1922 году он писал в частном письме: "Я проходил через все поэтические кружки и организации; теперь мне это давно не надо... Я хочу работать один." Однако попытки его издать второй более зрелый поэтический сборник "Петербургские ночи" - в Госиздате, или в издательстве "Круг" - остаются безуспешными. Он писал своей корреспондентке в Берлин еще в 1924 году, что надеется на выход этой книги, над которой работал два года. "В ней отражается Петербург, не современный, а надеюсь, и вечный, его одинокая борьба и жизнь одного из его жителей. Почти все стихи отдельно были напечатаны в разных журналах. В официальных органах я почти не участвую, считая, что это было бы недобросовестным с моей стороны, так как я резко расхожусь с современностью." В другом письме он называет этот сборник - "книга романтическая и фантастическая".

Лишь в 1926 году выходит его вторая книга стихов (без названия, посвященная его жене - А.И. Федоровой), знаменующая новый этап в его поэтическом творчестве. Но стихи, написанные в совершенно новой манере, начинают появляться у него уже в 1922 году ("Среди ночных блистательных блужданий", с.123,"Бегу в ночи над Финскою дорогой", с. 81). Тогда же он писал своей корреспондентке: "Весной мне стало ясно, что я не должен писать дальше, как я писал. Я дошел до грани и дальше уже была бы подделка под самого себя." Этим и объясняется то, что некоторые из своих ранних стихов он впоследствии с легкостью "раздает" разным персонажам своих иронических романов в том числе - внутренне не близким.

Но приведем еще серию отзывов о его стихах раннего периода, содержащие элементы анализа его поэзии. Вначале свидетельство участницы "Звучащей раковины" Веры Лурье в ее статье "Петроградское"[6]:

[6] Газета "Дни", Берлин, 5 августа 1923 года, № 232, с. 12.

"Стихи Вагинов пишет почти ежедневно, обычно циклами... Он символист, ключ к пониманию своих стихов часто находит лишь после их написания: тогда вокруг одного основного стихотворения создает целый стихотворный цикл, причем последние стихи его циклов бывают обычно проясненнее первых; таким образом у Вагинова в творческом процессе - два периода: первый, когда он пишет непонятное, затем второй, когда от непонятного переходит к проясненным произведениям... У него крайне забавная манера писать: строчки он нанизывает, подбирая слова по звуковой близости или приятности красок. Произведения его насыщены крайне неожиданными образами, часто в них сквозит что-то романсовое. Вагинов почти не пользуется чистой рифмовкой, считая ее чересчур законченной и резкой, а предпочитает ассонансные окончания. Также он избегает однородного метра и в особенности любит смешивать разностопные ямбы." Правда, в письме к автору этого отзыва Вагинов говорил: "Последние полтора года мы не писали друг другу и прочитав Вашу статью я увидел, что мы утратили прежнюю связь и понимание" и ниже: "Та пора цветных книжек и путь от слов к мысли давно прошли и потому мне странным показалось, что Вы так пишете обо мне, ведь тот я давно умер." Это однако не умаляет отзыва.

Поэтесса Надежда Павлович, говоря о группе "Островитяне", пишет: "Наиболее даровитый из них Константин Вагинов. Это подлинный сын Петербурга, классического Петербурга и умирающего. Как колонны Александровского ампира хочет прямиться стих его... Но гнилая трясина колышется под Петровым городом и она же поит и питает стих Вагинова. Его бог - Аполлон, но не тот лучезарный, осенивший античность, его Аполлон гнилой, с узкой грудью, сухой и жестокий, и все же бог, и под развинченностью движений, под дряблой кожей вдруг иногда просквозит извечная прелесть и задыхающийся стих выпрямляется и звучит ясно и торжественно."[7] Цитируем дальше:

"К. Вагинов весь в себе. Он даже "перевернул глаза и осмотрелся", осмотрел себя внутри. Его стих держится на эвтонических приемах. Слова сочетаются друг с другом не по слоговой, а по звуко-

---

[7] "Письмо из Петербурга. Петербургские поэты". - журнал "Гостиница для путешествующих в прекрасном". № 1, Москва, ноябрь 1922, с. 31.

вой ассоциации: крутись - карусель - семя, градом - огород, Монтекристо - скрипка и т.д. Поэтому слова у него часто остраняются, теряют обычное значение и сочетание их часто выпирает из обычных логических схем."[8]

Валерий Брюсов, рецензируя сборник "Островитяне", писал: "единственное, что роднит их между собой - это попытка выбиться из шаблона эпигонов символизма. К. Вагинов подходит к этой задаче немного через футуризм, беря у футуристов преимущественно приемы образа. Отдельные строки в стихах Вагинова интересны, но образы между собой не согласованы и стих, несмотря на нарочитые аллитерации, тускл и незвучен."[9]

"Вагинов идет за Мандельштамом. Он тоже отметает логическое движение стиха, заменяя его фонетическим... Вагинов тоже пытается управлять большими звуковыми массами, строить бессмысленное, но стройное фонетическое здание. Для этого надо быть Мандельштамом. Вагинов же, сцепляя стихи, довольствуется простыми звуковыми ассоциациями ("В нагорных горнах...", с.54). Тем не менее в каждой строке Вагинова чувствуется сырая, еще не нашедшая себя, но подлинная поэтическая острота."[10]

"Интересен Вагинов. Стихи его бред конечно, но какой заставляющий слушать бред! Хорошей болезнью встряхнуло Вагинова - он потерял чувство обычного пространства и обычного времени. Широко раскрытыми глазами смотрит на райские леса, которыми зарастают городские площади и в трамвайном лязганьи слышит колокольчики кочевого Багдада. Логические несообразности Вагинов часто оправдывает верностью своего звукового рисунка - редкий пример фонетического воображения. На этом построена дикая книжка "Путешествие в хаос", книжка очень юная, плохого вкуса, но живая несомненно... Мне думается, весь Вагинов - это рассказывание снов,

---

[8] Давид Выгодский, рец. на сб. "Островитяне". - газета "Жизнь искусства", 23 июня 1922 г., № 20, с. 4.

[9] Журнал "Печать и революция", Москва 1922.6. сс. 292-293.

[10] Лев Лунц, "Новые поэты". - литературная газета "Ирида" под ред. А.Г. Фомина, 1922, неизд. - Архив Пушкинского Дома. Фонд 568, оп. 1, ед. 125, сс. 221-222.

прекрасных и тающих неуловимо. Его нередко бескрылые слова - тревожная недосказанность."[11]

"Константин Вагинов - совсем молодое имя, вынесенное на берег невской бурей последних лет. Ничего нет в нем от "стройного Петербурга" - это ночной голос, тревожный и горький. Первая книга "Путешествие в хаос" - еще младенчески беспомощная, лишенная композиционных заданий, построенная исключительно на звуковом ощу- щении отдельных слов, но уже исполненная пророчественного бреда. Вторая - еще не изданная "Петербургские ночи" - дань глубоко волнующей любви к родному городу, ставшему городом вечности. Его Петербург - в динамике, в неведомом плаваньи. Сквозь Вагинова протекает ритмическое ощущение давних и близких культур, но не в остром осознании их творческой воплощенности, а совершенно так же, как в зрачках слепого отражается мудрый узор созвездий. Вагинов слеп. Ему дано слышать порою слабо, порою очень неуверенно, но все-таки слышать. Я думаю, что он ничему не сможет научить, да у него и не надо учиться. Душа его давно переросла тело и мешает ему ходить по земле. Вот почему эти юношеские стихи, волнуют такой ветровой шириной и неуютом."[12] "У него есть подкупающая лиричность. В стихотворении "У милых ног венецианских статуй" (с. 44) он еще усиливает ее приемом лирического повторения (которым так хорошо пользуется, между прочим, Сергей Есенин, например: "Трубит, трубит погибельный рог.., как же быть теперь нам?.."). В других стихотворениях Вагинова лиричность заглушается метафорической образностью, несколько отвлеченной, отдающей холодком малопонятной абстракции."[13]

---

[11] В. Р[ождественский], рец. на сб. "Путешествие в хаос". - журнал "Книга и революция", Москва-Петроград 1922, № 7(19), с. 64.

[12] Он же, "Петербургская школа молодой русской поэзии". - журнал "Записки передвижного театра им. П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской", Петроград, 7 октября 1923 г., № 62, сс. 2-3.

[13] Илья Груздев, рец. на альманах "Звучащая раковина". - журнал "Книга и революция", 1922, № 7(19), с. 60.

"Очень сложно и выдержанно пишет Константин Вагинов. В нем словно воскресает символизм, но как-то совсем по новому, проведенный через XVIII век и богато обогащенный им."[14]

"К. Вагинов подобно Н. Тихонову - поэт с уже намеченными путями. Его экзотическая метафора всегда свежа, в своей боязни истертого и дешевого он не боится показаться смешным и часто впадает в неловкости - истинный путь завоевания. Интересно отметить влияние французских символистов, гораздо в большей степени, чем поэтов, близких ему по времени и по языку. Недавно вышла книжка Вагинова "Путешествие в хаос", показавшая капризное своеобразие и неподдельный экзотизм темы. Для двух-трех по настоящему хороших стихотворений этой книги стоит преодолеть баррикады дешевых эффектов и метафор сомнительной ценности. Вагинов в своих ошибках самостоятелен, а это уже нечто."[15]

"У Константина Вагинова в стихах - раздумчивая созерцательность восточного характера. Его мысли смутны и неотчетливы, но он умеет завораживать тяжелым течением словесной массы. В причудливых извивах его стиха много своих слов, есть музыка."[16]

И в заключение - отзыв Владислава Ходасевича: "Стихи, которые Вагинов читал в кружке "Звучащая раковина" и на "Наппельбаумовских понедельниках" были довольно несуразны, до последней степени метафоричны и до смысла в них трудно было добраться. Но в самой несвязице Вагиновских стихов было что-то свое, она была как-то своеобразно окрашена. Наконец звучала в них подлинная ритмичность, они были к тому же хорошо инструментованы. Словом казалось, что из него выйдет толк. Так смотрели многие, в том числе Гумилев."[17]

---

[14] Он же, "Русская поэзия в 1918-23 гг." - там же, 1923, № 3(27), сс. 37-38.

[15] Я.Торн, рец. на альманах "Ушкуйники", 1922. - Архив Пушкинского Дома. ф. 98, ед. 133, сс. 2-3.

[16] Августа Рашковская, "Поэзия 'молодых'". - газета "Жизнь искусства", 1923, № 27.

[17] Парижский альбом, II. - газета "Дни", Париж, 13 апреля 1926.

Когда Вагинов умер, Ходасевич тепло отозвался о нем в очередном обзоре в газете "Возрождение", но сдержанного отношения к его поэзии не изменил. Отметим, что и Вагинов холодно отзывался о его стихах.

Поэтический путь Вагинова можно приблизительно разбить на четыре периода. Первый - символистско-романтический - 1919-23 гг., достаточно полно освещенный в данной подборке критических высказываний и к которому мы еще вернемся в суммарной оценке.

Второй период - 1922-25 гг. - особенно значителен для его творчества и именно он обеспечил Вагинову особое место в русской поэзии. Он в основном охватывается его второй книгой стихов 1926 года и замыкается впервые публикуемой здесь драматической поэмой "1925 год" (сс. 107-118).

Вот что писала участница "Звучащей раковины" И. Наппельбаум в Париж поэтессе Н. Берберовой: "Костя Вагинов много пишет, много работает, много учится и читает, главным образом старую французскую литературу. Книжка его вызвала много толков, она взбудоражила всю литературную публику. Только теперь они заметили, что это "крупное явление" в русской литературной жизни и заговорили о том, что надо что-то делать, чтобы ее выделить, чтобы побольше внимания вообще оказать вагиновскому творчеству. Чтобы издать эту книжку, материально сложились почти все литераторы Ленинграда и теперь гордятся ею. В Союзе Писателей был устроен вечер с приветственными речами, с докладом и т.п. И в частном доме читался тоже доклад о книжке."[18] Большую роль в этом издании сыграл писатель М. Фроман, что явствует из автографа на одном из экземпляров: "Дорогой Михаил Александрович! Эта книжка до некоторой степени Ваше дитя. Детский Дом [типография имени Ивана Федорова] одел, не без Ваших настойчивых указаний, ее в скромное платье. Вам даже снились сны по поводу ее первого выхода из Детдома. Примите ее от меня, как знак любви и дружбы. В. 8.III.1926 г." Что же касается вечера в Союзе писателей, то отчетов о нем найти не удалось, но некоторыми воспоминаниями с нами поделился покойный М.М. Бахтин. Он в частности указал, что вечер открылся вступительным словом Бенедикта Лившица, сравнившего Вагинова с Анахарсисом, а с основ-

---

[18] Н. Берберова, "Из петербургских воспоминаний". - журнал "Опыты". Нью-Йорк 1953.1, с. 116.

ным докладом выступил Л.В. Пумпянский. Основной тон выступлений был положительный, но были и нападки со стороны крестьянского поэта Ивана Приблудного. Можно предположить, что Вагинов был не очень доволен докладом, результатом чего оказался последующий конфликт с Пумпянским, которого Вагинов вывел в образе Тептелкина в романе "Козлиная песнь". Пумпянский же текст доклада уничтожил. А известный нам уцелевший фрагмент его не дает материала для суждений, кроме разве того, что доклад был выдержан в социологическом ключе, что и могло вызвать раздражение поэта.

В "Красной вечерней газете" от 21 ноября 1926 года была помещена рецензия на книжку за подписью О.К. (возможно постоянно сотрудничавший здесь Иннокентий Оксенов). Там говорилось: "Вагинов пока что поэт для поэтов и критиков и его стихи с трагической тематикой, живущие деформированным классическим каноном, еще не могут найти дороги к широкому читателю." Автор надеется, что Вагинов еще приблизится к современности и "из пережившего становление символиста" превратится в живого волнующего поэта. Мастерство Вагиновым уже завоевано. Будем ждать "оживления статуи". Слова о "классическом каноне" взяты из доклада Пумпянского.

Мир Вагинова этих лет - мир античных ассоциаций, перенесенных на современность. Но это не торжественный мир Эллады Вяч. Иванова, М. Волошина, О. Мандельштама. Это болезненный деградирующий и тем ярче цветущий перед падением эллинизм упадка. При всей своей ущербности он однако сроден "Эллинской религии страдающего Бога" Вяч. Иванова. Вагинов провидит вечные архетипы сквозь неказистые и гротескные черты современной ему действительности. Даже обычные сцены городской жизни (свадьба, прогулки, вечеринки) приобретают под его пером значительность древних мистерий. Сквозь реальную географию Петрограда (Сенная, Стрелка, Гостиный двор) он видит Антиохию, Александрию, Родос - в достаточной мере условные. Да и Петербург его, только начинающий оправляться после разрухи, близок к известному пророчеству, что ему "быть пусту". Евангельские образы первого периода (Иисус, Мария, Иордан) сменяются образами Орфея, Филомелы, Психеи, именами античных божеств. Вера в Христа подорвана и отвергнутые христианством древние боги возвращаются в мир, приобретя за время своего изгнания оттенок демонизма. Аполлон из прозаического "Монастыря господа нашего Аполлона", требующий человеческих жертв, "ужасная Венера" (с.116) пьесы

"1925 год", где наиболее рельефно предстает авторская позиция. Среди смешения времен, верований и культур, порожденного революционным хаосом, растерянно бродит авторский двойник Филострат, имеющий отдаленное сходство с эллином Филостратом, автором книги описаний "Картины" и романа об античном чудотворце Аполлонии Тианском. В 1926 году близкая Вагинову поэтесса Ф. Наппельбаум сообщала своей корреспондентке в Берлин, что он написал пьесу "разумеется, не постановочную". Филострату здесь противопоставлен собирательный тип интеллигента-конформиста Тептелкина, отличающийся однако от своего однофамильца из "Козлиной песни" упрощенностью рассуждений. Считается, что прототипом ему здесь послужил критик П. Медведев. Тептелкин очевидно раздражает Филострата, но он не враг ему, отношения их напоминают отношения Санчо Пансы и Дон Кихота. Это становится особенно очевидным, когда благодушные разглагольствования этого полупопутчика, полусменовеховца сменяются жесткой речью Начальника цеха, явно представляющего "подлинно пролетарскую" рапповскую критику. Воздух эпохи делается все более разреженным. Тема последних носителей культуры, удалившихся от сложности и жестокости жизни в замок, полнее развернута в упомянутом "Монастыре господа нашего Аполлона" (альманах "Абраксас", 1922) и в "Козлиной песне", а также имеет общие черты с поэмой С. Нельдихена "Праздник". В пьесе имеются явные реминисценции из пушкинских "Пира во время чумы" и "Разговора книгопродавца с поэтом" - впервые обнажается связь с русской поэтической традицией.

Отход Вагинова от эстетских кружков связан у него с поиском новых выразительных средств, нового взгляда на мир в среде представителей авангардистских групп, среди которых он впрочем, как и ранее, остается "аутсайдером". Так в 1923-25 гг. он сближается с ленинградскими имажинистами - Вольфом Эрлихом и Григорием Шмерельсоном. С другой стороны занятия в Институте Истории Искусств сближают его с мэтрами и адептами формальных теорий литературы (М. Бахтин, Б. Энгельгардт, Б. Эйхенбаум, Б. Бухштаб), оказавших известное влияние на его творчество. Это ощущается в его третьей самой известной книге стихов (начиная с названия "Опыты соединения слов посредством ритма", вышедшей в 1931 году[19]), так и в ро-

---

[19] По нашим сведениям анонимное предисловие к ней написано В. Саяновым.

мане "Труды и дни Свистонова" (1929). Наиболее интересен однако его альянс с группой поэтов "Обэриу", несколько младших его по возрасту. Этот период поисков был связан и с последовательным его участием в готовившихся, но так и не вышедших альманахах "Левое объединение" (1923), "Необычайные свидания друзей" (1925, имажинистский), "Ванна Архимеда" (1930 - обэриуты и формалисты). Вагинов выступал на обэриутских вечерах, в том числе на известном вечере 24 января 1928 года в Доме литераторов на Фонтанке, где читал стихи в сопровождении танцующей балерины (он сам иронически описал этот вечер в первой главе "Трудов и дней Свистонова"). Как вспоминали участники этих выступлений, стихи Вагинова лучше других принимались публикой, так как казались более понятными. В 1926 году был воссоздан "Союз поэтов" и Вагинов вместе с "обэриутами" и имажинистами публиковался в его изданиях "Собрание стихотворений" и "Костер". Этот третий "обэриутско-формалистический" период наиболее близок к его язвительной прозе и охватывает приблизительно 1926-30 гг. Период этот наиболее сложен. Пройдя через отрицание новой действительности, отразившееся в оппозиционном духе ряда его стихотворений ("Сынам Невы", с. 69, "Я стал просвечивающей формой", с. 98 и др.), он попытался все же искренне понять ее, не меняя своей поэтической системы, включить ее в поле своей вневременной созерцательности (стихи 1924 года - "О, сколько лет", с. 149, "Да, целый год", с.150). Но он увидел, что это невозможно. И тогда начался кризисный период мучительной ломки не только найденной было гармонии, но и вкуса, период сарказма и гримас - менее литературно совершенный, но очевидно внутренне необходимый. Перестройка формальная шла параллельно с перестройкой общественной. В стихи этих лет проникает ставшая традиционно русской тема Достоевского - "бездна вверху, бездна внизу". Ирония Вагинова, более проявившаяся, правда, в его прозе - болезненна. Он - часть осмеиваемого им мира, который он никак не может совместить с зовущей, но пугающей его действительностью. И алогизм его образов иной, чем у обэриутов - у тех он вырастает из отказа от традиционной культуры и сомнения в новой, - Вагинов же остается лишь в кругу сомнений и у него сохраняется присущая ему с самого начала странная логика, парадоксально существующая на грани смысла ("фонари, стоящие, как слезы" и пр.). Некоторые сти-

хи этих лет напоминают Заболоцкого (параллели с которым проявятся и в последнем цикле "Звукоподобие") сочетанием гротескного содержания с выработанностью формы. Кстати иллюстрацией их отношений может служить факт рекомендации Вагиновым стихотворения последнего "Футбол"[20], которое он назвал "золотым самородком".[21] Кстати отметим, что близкий обэриутам писатель Г. Гор вспоминал, что Вагинов поздравил его с вышедшей в 1933 году авангардистской книжкой "Живопись".

Чтобы лучше понять этот его период, необходимо хотя бы коротко сказать о его прозе. В отличие от большинства поэтов, чья проза обычно имеет много общего с их стихами, проза Вагинова, за исключением самых ранних вещей ("Монастырь господа нашего Аполлона", 1922, "Звезда Вифлеема", 1922, и начало "Козлиной песни", 1928), составляет совсем особую стихию. Вагинов-поэт и Вагинов-прозаик - это доктор Джекиль и мистер Хайд из известного рассказа Р. Стивенсона. Поэзия его возвышенна, проза же, хотя и интересна, но как-то изначально безблагодатна. Если оговоренные вещи еще могут служить отчасти сниженным авторским комментарием к его стихам, то из последующих произведений ("Труды и дни Свистонова", 1929, "Бамбочада", 1931, и неопубликованная "Гарпагониада", 1932-34) словно выкачан воздух, и то злая, то беспредметная ирония и перегруженная эрудицией литературная игра все чаще сменяются мрачным безучастным констатированием действительности, своего рода "неопередвижничеством".(Записи "городского фольклора" и факты, полные "черного юмора", почти без изменений перекочевывают из его записной книжки в романы.) Существование же такого поэта как Вагинов в эпоху коллективизации и пятилеток парадоксально и объяснимо лишь известной отстраненностью бывшей имперской столицы от происходившего в стране. Феномен Вагинова может быть понят лишь в связи с той рафинированной культурой, которая существовала в Ленинграде 20-х - начала 30-х годов. Если бы его, как писателя группы "Серапионовых братьев", спросили - с кем он, он ответил бы - с Филостратом. Однако он не мог долго оставаться на этой позиции. Проза его, насквозь пропитанная ушедшей от нас злободневностью, изобилующая намеками и карикатурами, не лишенная

---

[20] Напечатан в ленинградском журнале "Звезда", № 10 за 1927 г.

[21] В. Завалишин, "Николай Заболоцкий". - "Новый журнал" № 58. Нью-Йорк 1959, с. 123.

интеллигентского мазохизма, была своего рода платой за право сохранить нетронутым свой поэтический мир. В начале 30-х годов над ленинградской литературой сгущаются тучи - исключаются из Союза писателей и репрессируются Хармс и Введенский, некоторые другие писатели. Вагинову же на этом фоне предлагается в 1932 году принять участие в творческой дискуссии о прозе (нечто вроде самоотчета). Он участвует в сборе материалов по истории Нарвской заставы для сборника "Четыре поколения" (1933), ведет кружок заводских писателей. Нельзя сказать, что это проходит бесследно для его прозы. Но для поэзии оказывается ненужным. Такая ситуация была общей для многих писателей в 30-е годы. Но Вагинов - один из немногих выбрал путь созерцания, олимпийства - не надо забывать, что такое олимпийство тогда требовало чисто олимпийской выдержки.

Речь идет о поэзии его последних лет - 1931-34 гг., о периоде, который мы можем назвать "синтетическим". Все темное, мрачное словно оседает в его прозе ("Гарпагониада", рассказ "Конец первой любви", 1931), в то время как поэзия достигает поразительной ясности, напряженности и чистоты. Вся сложность его мироощущения - человека XX века, наследника мировых культур - словно освобождается здесь от строительных леоов и находит своего рода "золотое сечение". Вместе с тем стихам этим присуще некоторое метафизическое беспокойство, тревожная недосказанность, глубоко задевающий лиризм, - что спасает их от застылости неоклассицизма. Смертельная болезнь, жизнь между санаториями и больницами как бы ставят его над жизнью, заставляют смотреть на нее мудро и примиренно ("Почувствовал он боль", с. 202). Написанное, наступя "на горло собственной песне", "Украшение берегов" (с.106) является единственным известным нам исключением.

В поэтическом мире Вагинова есть общее с мироощущением Жерар де Нерваля, Кольриджа, Эдгара По, литературой французского символизма, вызванное очевидно сходным душевным опытом. Ранним его стихам присуща легкая взаимозаменяемость слов - смутный поток ассоциаций делает это возможным. Границы между отдельными стихами подчас размыты - это то "парные" стихи (как иногда у Мандельштама), то фрагменты какого-то туманного эпоса с кочующими образами и темами. Часто он сознательно разрывает логические связи, заменяя их ассоциатвными, - как правило, очень сложными. Рифмы его обычно приблизительны, нередко он сознательно отказывается от легкой рифмы,

чтобы разбить стереотип. Например, рифма к "Ориген" - "плач" вместо напрашивающегося "плен". Строки у него кажутся подчас словно рассыпанными и перепутанными наборщиком (вообще его манера писать как бы отлитыми строками - от "Цеха поэтов"), - в порядке их есть нарочитая случайность, бессистемность. И сквозь этот хаос не всегда удается разглядеть черты сложного миросозерцания Вагинова, - но например в маленькой поэме "Петербургский звездочет" (сс. 64-65), как в катренах Нострадамуса, в спутанном виде предстают причудливо смешанными образы прошлого, настоящего, будущего - именно "пророческий бред" по определению В. Рождественского. Наплыв странных образов наводил иных критиков на мысль, что логические связи у него определяются звуковым рисунком. Но это суждение неточно - при всем его внимании к фонетической стороне стиха, в ней проявляется особое интуитивное постижение мира, свойственное ему. Походя отметим, что среди ранних стихов попадаются и реалистические почти протокольные зарисовки - "Помню последнюю ночь" (с. 68), "Нет, не люблю закат" (с.70). К его стихам, более, чем к чьим-либо приложимо определение Бальмонта - "поэзия как волшебство". Подобно Лотреамону и сюрреалистам, он легко соединяет отдаленные понятия - "ветвистые дома", "женовидные слова" и в образах его живут почти несовместимые сближения - "безбрежное вино", "среди дворцов змеистых". Попадаются у него и неологизмы - например, "взорлить" (ср. позднейшее "взорить" у Маяковского - от "зоря"). Если в ранних его стихах значительную роль играют темы вырождения, "искусственного рая", то позднее все более важное место начинает занимать у него противопоставление искусства и жизни:

Средь шороха домов, средь кирпичей крылатых
Я женщину живую полюбил
И я возненавидел дух искусства... (с. 128)

Он бросает вызов бездушной цивилизации современности, искажающей природу и человека:

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша,
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла. (с. 120)

Со временем его смутное темное вдохновение все более проясняется,

невнятица сменяется классической проясненностью и светлыми тонами - однако не в ущерб сложному движению мысли.

Несмотря на кажущуюся удаленность Вагинова от русской поэтической традиции и экзотичность его вкусов, мы можем наметить некоторые ориентиры. Выше указывалось на лермонтовские и пушкинские ноты в отдельных его произведениях. Но рядом с этой элегической тональностью мы находим у него черты высокого одического строя. Так манера употреблять составные прилагательные типа "мрачноречивые", "смугломраморные" напоминают стилистику старых русских переводов Гомера ("шлемоблещущий", "розоперстая"), Державина ("краезлатые"), вообще русский классицизм. Отметим, что подобные примеры попадаются и у Тютчева. Можно найти известное сходство его поэзии со стихами К. Батюшкова ("Последняя весна", "Подражания древним"), с которым он вообще имеет много общего в подходе к античности, В. Кюхельбекера (поэма "Кассандра", стихотворение "Луна"), В. Туманского. Особенно любопытно привести следующее четверостишие малоизвестного поэта Василия Григорьева из поэмы "Князь Андрей Курбский"[22]:

Почила рать, сквозь сон светлеют лица,
Игра мечты и лепет на устах:
Им снится мир, на родине светлица,
И взоры дев и встречи в городах.

В литературе обычно связывают его поэзию с Хлебниковым и Мандельштамом. Нам это кажется достаточно общим, - впрочем напомним, в дополнение к тому, что было уже сказано, что у последнего уже в 1920 году встречается почти "обэриутское" стихотворение "Феодосия". Приведем здесь и замечание Эм. Райса в его статье "О 40-летии русской поэзии в СССР": "Разорванность и гиперболичность его душевной стихии напоминают футуристов".[23] В самых ранних стихах Вагинова есть сходство с "богоборческими" поэмами С. Есенина "Инония" и "Иорданская голубица". Есть известное соприкосновение Вагинова с поэтами английского имажизма, также охотно сопрягавшими античность с современностью - например, трактовка образа Филомелы - соловья напоминает таковую у Т.С. Элиота. Это не кажется

[22] "Невский альманах", С-Петербург 1830.

[23] Журнал "Грани", № 49, Франкфурт 1961, с. 103.

случайным, ибо в конце 20-х годов в Ленинграде подвизался английский поэт Дуглас Харман, знакомивший Вагинова с произведениями Элиота и Джойса. Но разумеется, говоря о литературных корнях Вагинова, надо помнить о том, что он владел латинским, древнегреческим, французским, итальянским, испанским языками, что он работал над переводами "Дафниса и Хлои" Лонга (вместе с одним из членов т.н. "кружка эллинистов" Андреем Егуновым), Анджело Полициано, Гонгоры, ценил александрийскую поэзию.

Из внутренне близких Вагинову поэтов следует назвать в первую очередь Бориса Поплавского, который, без сомнения, знал его стихи, доходившие до представителей т.н. "парижской школы" (см. выше отзывы Адамовича и Оцупа). Но здесь можно скорее говорить о конгениальности, ибо стиль Поплавского сложился независимо и иными путями. См. например у него:

Дух музыки мечтал в ночном саду
С энигматической улыбкой соловьиной.

или:

Нет, молод я, так сумрачно, так долго. и пр.

На Западе поэзия Вагинова неизвестна. Имеется лишь несколько переводов его на польский язык (В. Вирпша, И. Поступальский), одно раннее стихотворение было переведено на французский язык В. Пястом, но в печати не появилось.

Отмечу в заключение, что я не ставил своей задачей всесторонний анализ поэзии Вагинова - цель статьи заключалась лишь в том, чтобы сопроводить возможно более полный свод его текстов необходимыми сведениями для понимания его творчества.

Л. Чертков

## УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ К.ВАГИНОВА

# ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK
## HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

1 Sabine Appel: Jurij Oleša. "Zavist'" und "Zagovor čuvstv". Ein Vergleich des Romans mit seiner dramatisierten Fassung. 1973. 234 S. DM 24.-

2 Renate Menge-Verbeeck: Nullsuffix und Nullsuffigierung im Russischen. Zur Theorie der Wortbildung. 1973. IV, 178 S. DM 18.-

3 Jozef Mistrík: Exakte Typologie von Texten. 1973. 157 S. DM 18.-

4 Andrea Hermann: Zum Deutschlandbild der nichtmarxistischen Sozialisten. Analyse der Zeitschrift "Russkoe Bogatstvo" von 1880 bis 1904. 1974. 198 S. DM 20.-

5 Aleksandr Vvedenskij: Izbrannoe. Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Kasack. 1974. 116 S. DM 15.-

6 Volker Levin: Das Groteske in Michail Bulgakovs Prosa mit einem Exkurs zu A. Sinjavskij. 1975. 158 S. DM 18.-

7 Геннадий Айги: Стихи 1954 - 1971. Редакция и вступительная статья В. Казака. 1975. 214 S. DM 20.-

8 Владимир Казаков: Ошибка живых. Роман. 1976. 201 S. DM 20.-

9 Hans-Joachim Dreyer: Petr Veršigora. "Ljudi s čistoj sovest'ju". Veränderungen eines Partisanenromans unter dem Einfluß der Politik. 1976. 101 S. DM 15.-

10 Николай Эрдман: Мандат. Пьеса в трех действиях. Редакция и вступительная статья В. Казака. 1976. 109 S. DM 15.-

11 Karl-Dieter van Ackern: Bulat Okudžava und die kritische Literatur über den Krieg. 1976. 196 S. DM 20.-

12 Михаил Булгаков: Ранняя неизданная проза. Составление и предисловие Ф. Левина. 1976. 215 S. DM 24.-

13 Eva-Marie Fiedler-Stolz: Ol'ga Berggol'c. Aspekte ihres lyrischen Werkes. 1977. 207 S. DM 20.-

14 Christine Scholle: Das Duell in der russischen Literatur. Wandlungen und Verfall eines Ritus. 1977. 194 S. DM 20.-

München · Verlag Otto Sagner in Kommission

ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK

15 Aleksandr Vvedenskij: Minin i Požarskij. Herausgegeben von Felix Philipp Ingold. Vorwort von Bertram Müller. 1978. 49 S. DM 8.-

16 Irmgard Lorenz: Russische Jagdterminologie. Analyse des Sprachgebrauchs der Jäger. 1978. 558 S. DM 60.-

17 Владимир Казаков: Случайный воин. Стихотворения 1961 - 1976. Поэмы. Драмы. Очерк ›Зудесник‹. 1978. 214 S. DM 24.-

18 Angela Martini: Erzähltechniken Leonid Nikolaevič Andreevs. 1978. 322 S. DM 30.-

19 Bertram Müller: Absurde Literatur in Rußland. Entstehung und Entwicklung. 1978. 210 S. DM 24.-

20 Михаил Булгаков: Ранняя несобранная проза. Составление Ф. Левина и Л.В. Светина. Предисловие Ф. Левина. 1978. 250 S. DM 30.-

21 Die Russische Orthodoxe Kirche in der Gegenwart. Beiträge zu einem Symposium der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Herausgegeben von Wolfgang Kasack. 1979. 86 S. DM 10.-

22 Георгий Оболдуев: Устойчивое неравновесье. Стихи 1923 - 1949. Составление и подготовка текста А.Н. Терезина. Предисловие А.Н. Терезина. Послесловие В. Казака. 1979, 176 S. DM 20.-

23 Wolfgang Kasack: Die russische Literatur 1945 - 1976. Mit einem Verzeichnis der Übersetzungen ins Deutsche 1945 - 1979. 1980. 72 S. DM 10.-

24 Михаил Булгаков: Ранняя неизвестная проза. Составление и предисловие Ф. Левина. 1981. 254 S. DM 32.-

25 Поэт-переводчик Константин Богатырев. Друг немецкой литературы. Ред.-сост. В. Казак с участием Л. Копелева и Е. Эткинда. 1982. 316 S. DM 34.-

26 Константин Вагинов: Собрание стихотворений. Составление, послесловие и примечания Л. Черткова. Предисловие В. Казака. 1982. 240 S. DM 26.-

München · Verlag Otto Sagner in Kommission